Борис НОСИК

ДОРОГА ДОЛГАЯ ЛЕГКА

Борис Носик

Дорога долгая легка… (сборник)

«Автор»
2013

Носик Б. М.

Дорога долгая легка… (сборник) / Б. М. Носик — «Автор», 2013

Борис Михайлович Носик, автор многочисленных книг и телефильмов о русской эмиграции во Франции, прежде всего прозаик – умный, ироничный и печальный. в его романах, повестях, рассказах грусть и смех идут рука об руку и трагедия соседствует с фарсом, герои Бориса Носика – люди невезучие, неустроенные, но они всегда сохраняют внутреннюю свободу и чувство собственного достоинства.Шестую книгу своей прозы, выпущенную «Текстом», автор составил из произведений, которые считает самыми удачными.

© Носик Б. М., 2013
© Автор, 2013

Содержание

Большие птицы 5
Глава 1 5
Глава 2 18
Глава 3 28
Глава 4 34
Глава 5 40
Глава 6 50
«Бахорфильм» 55
Конец ознакомительного фрагмента. 63

Борис Носик
Дорога долгая легка…
Избранное

Красивой семье Ушаковых – Лене, Стасе, Михаилу и Денису – дружески посвящает автор вязанку своих писаний

Большие птицы

Глава 1

Передний зуб шатался, висел на волоске. Ощущение трагедии нарастало. Зенкович теперь все воспринимал трагически, хотя внешне жизнь его протекала почти спокойно. Правда, жена ушла от него, забрав его любимого сына. Иногда Зенковичу удавалось повидать сына. Это было тяжко и становилось с каждым разом все тяжелей, все обидней… Впрочем, если смотреть со стороны, Зенкович жил как будто вполне беззаботно. Денег еще оставалось, пожалуй, на год, переводческой работы пока хватало – можно было жить. Грустно, но можно. Погрусти – и живи. Вот только приклеить зуб…

Он вышел из метро, увидел синее небо над шумной площадью и подумал, что все поправимо. Вокруг строят такие дома. А значит, стройматериалы совершенствуются. А значит, чародей Израиль Романович приклеит зуб и можно будет даже улыбаться. Вот где-то здесь в переулке поликлиника. Кажется, в Спасском. А где Спасский? Зенкович дошел до середины улицы и попал в водоворот машин. Попытки проскочить под носом у самосвала и «Волги» кончились угрожающей неудачей. Зенкович решил переждать. А потом? Где тут все-таки Спасский?

Зенкович огляделся. Рядом с ним стояла нежно-розовая девица с белыми волосами до пояса. На ней была очень длинная юбка. Странная, полудеревенская косынка. И дубленка. Дубленка, впрочем, как у всех. Светлые волосы отливали рыжим. От «Лондатона»? А светлая отчего?

– Рыжая! Где же тут Спасский? – Зенкович спросил менее изысканно, чем обычно. А спрашивал он почти всегда – надо или не надо: он был общителен, слегка взвинчен. Сходился он с девушками сразу, хотя влюблялся редко – только в результате длительной неудачи или твердого решения. – Где же тут все-таки Спасский, а, рыжая?

Девушка посмотрела на него, улыбнулась, растерянно пожала плечами.

– Ай ду спик… Ай ду спик оунли инглиш, – сказала она: говорю, мол, только по-английски.

– Ноу рашн эт ол? – весело сказал Зенкович. – Вовсе, стало быть, не сечешь по-русски?

Она покачала головой.

– Это нам хоть бы хрен, – сказал Зенкович. – По-английски у нас всякий простой человек. Простой советский человек, который на голову выше всякого ихнего… Кого же он там выше? Не вспомню. А-а-а… Высокопоставленного чинуши. Ясно?.. Откуда же ты такая? – Светофор мигул, Зенкович подхватил ее под руку, и они перебежали на тротуар. – Из каких стран?

Он с удовольствием заговорил по-английски: гляди, так вот запросто лопочет у нас первый встречный, не хотите ли.

– Ого, Квинсленд. Красивые места. Что-то я переводил про вас. Уже не помню. Птица киви. Крик кукабары. Мишка-коала. Или это не про вас?

Она сказала, что сейчас, временно, живет в Лондоне.

– Совсем хорошо! Зеленая Англия, старая добрая Англия, – сказал Зенкович; все это было читано-перечитано, думано-передумано, хотелось-перехотелось давным-давно, еще тогда, когда он учил английский, писал курсовую о метафорах Голсуорси и мечтал, ох как мечтал повидать Англию. А теперь? Черт его знает, что теперь, он уже так давно не думал об Англии, о Голсуорси – просто переводил, что давали. А странствовал по России, в пределах… – Старая добрая Англия, – повторил Зенкович. – Хорошо небось в Англии…

– Мясо очень дорогое, – сказала девушка с серьезностью, – я уже два года не ем мяса. Я ем фасоль. В ней много белка. Фасоль не хуже.

– Хуже, – сказал Зенкович, – гораздо хуже.

Он рассмотрел ее лучше и удивился, что давеча так уверенно заговорил с ней по-русски: она была точь-в-точь ирландская простушка из голливудского фильма, из какой-нибудь «Дочери Райана». Эти ярко-розовые щеки, красная сеть сосудиков, расположенных так близко под кожей, синие глаза, прямые белые волосы – красота заморско-пейзанская, грубоватая и нежная в одно и то же время, и пастельная, и вульгарно-яркая: Зенкович не раз потешался над этими красотками в цветном кинематографе. Он думал, что это шалости системы «Техниколор», ан нет…

– Мясо это что, – сказал Зенкович, – мяса у нас навалом. – Он покачал передний зуб и отметил про себя неизбежный налет патриотизма в собственных речах. – Мяса у нас здесь до черта. Особенно в Доме журналиста. Хорошо там обстоит с мясом. Можно с уверенностью сказать, что в Доме журналиста проблема эта решена.

Он оглядывал ее с удовольствием. Она была очень серьезна и благожелательна. Ей больше двадцати, но меньше тридцати. Очень хорошенькая. Одежда представляет собой странное сочетание щегольства, моды, нелепости, небрежности и даже потрепанности. Впрочем, ей виднее, вероятно, так нужно, так у них носят.

– Вот я зуб укреплю, – сказал Зенкович, – можно тогда идти есть мясо. Так и быть, накормлю мясом, раз такие трудности в мелких странах.

– Я подожду, – сказала она просто.

На этом они расстались.

Сидя в ненавистном кресле, Зенкович со смехом рассказывал Израилю Романовичу про эту встречу.

– Англичанки, квинслендки, австралки – на черта они нам, Семочка? – сказал чародей, прилепляя зуб на место. – Уже мало нам своих блядей? Или у тебя еще не было квинслендского триппера, Сема? Вот так. Готово, гуляй, мой мальчик. Пока будет держать. А вообще, надо менять во рту всю работу. Сколько уже держится твоя работа? Лет десять?

Зенкович так мало ожидал увидеть девушку еще раз, что даже не сразу узнал ее, выйдя на улицу. Потом с некоторой гордостью отметил, что она ждет. Не мяса же она ждет. Она ждет его, такая вот молоденькая розовощекая девочка из далекого Квинсленда. Значит, он, Зенкович, еще стоит чего-нибудь и незачем строить трагедии. А может, ей все же хочется мяса, в нашем возрасте, Сема, не надо сильно преувеличивать свою половую привлекательность. Впрочем, может быть, ей просто скучно одной в большом и шумном городе. Да еще без языка. Так или иначе, он должен сейчас быть на высоте, он должен найти такси и повезти ее в Домжур, где дают вполне приличное «мясо по-суворовски». (Что значит «по-суворовски»: пуля дура, а штык молодец? Нет, не валяй дурака, просто это на Суворовском бульваре – но вот где взять такси?) Зенковичу повезло: таксист остановился и повез их без пререканий (никто не унижает так часто гусара и ухажера, как московские таксисты, – стой себе и скучай со своей барышней и своей рублевкой, а мы – на вот тебе, под носом, мы в парк, мы все в парк, сколько нас есть, по дороге в парк можно, конечно, заехать на вокзал, мы знаем, куда заехать, не твое дело, а ты стой и жди…)

Если бы он был один, Зенковичу не пришло бы в голову тащиться в Домжур, не такая уж там приятная публика, и вообще не станет он на собственную жратву тратить лишнее время или тратить лишние деньги (несмотря на вполне зрелый возраст, Зенкович еще не решил окончательно, на что стоит тратить лишние деньги – может, на путешествия, на дополнительную жилплощадь и дополнительную независимость, главное, чтобы не думать о деньгах, никогда не работать просто для денег).

Дорогой они продолжали знакомиться – Ивлин, Семен (она звала его то Семьон, то Сьоми, то, наконец, Сомми и Соми), он объяснял ей, что за улицы проезжают, кто построил эти здания, что знаменательного в них происходило. Он почему-то считал своим долгом знакомить ее с Москвой, которую сам знал неплохо (впоследствии он повторял свои рассказы всякий раз, когда они ехали по Москве, даже после того, как убедился и в том, что повторяется, и в том, что она забывает все без исключения, а может, даже и не слушает).

Не будет преувеличением сказать, что Зенкович нервничал во время этого первого ужина. Не то чтобы ему впервой было вот так на улице, почти на бегу, познакомиться с красивой девицей и пойти с ней ужинать, хотя, если говорить о весьма редко распространенных в этой части света квинслендских девицах или вообще о девицах с то ли дружественного, то ли враждебного нам, но всегда инородного Запада (впрочем, ведь этот чертов Квинсленд далеко на Востоке, но все равно, наверное, Запад, раз он не входит ни в «страны социализма», ни в «слаборазвитые»), – то, пожалуй, что и да, впервые. В былые времена Зенкович был, конечно, гораздо осторожнее и осмотрительнее на этот счет. И не только потому, что сами времена были осторожнее и осмотрительнее, но и еще почему-то, не очень ясно почему, может, потому, что уже приближалась в его собственной жизни черта, за которой не черта было терять. Так или иначе, сегодня он довольно отважно и безрассудно приволок девицу в Домжур, и вот теперь они сидели за одним столом с какими-то молодыми мужчинами в очень черных не по весне костюмах (все ясно, «старики» из областной, обкомовской газеты: «Наш главный, старик, собаку съел на прессе…»), жевали суворовское мясо и запросто говорили по-английски («маутфул эв инглиш», как говорят англичане, полный рот английского и полный рот мяса).

Зенкович хорошо говорил по-английски, хотя это доставляло ему теперь удовольствие очень недолго, не то что в юности: ну, убедилась она, что он чешет по-английски, убедились окружающие, а теперь бы вот в самый раз перейти обратно на свой ленивый, выразительный даже в своей лени и небрежности, свой собственный, обкатанный, исхоженный до самого далекого закоулка, чувствительный и к теплу и к холоду, точно голая спина, свой привычно незамечаемый, но нежно любимый русский, ан нет, тут уж не перейдешь…

Два «старика» из партийной прессы за их столом уже давно к ним приглядывались, однако еще не захмелели достаточно, чтобы решиться заговорить. В свой срок они пришли к этому, предложив им совершенно особенной украинской перцовки, которую украдкой вынимали из-под стола, вдобавок к той, самой обыкновенной, что была на столе и к тому же втридорога. Один из них стал насиловать свой школьный английский, а потом все же попросил Зенковича перевести для Ив, что у них сегодня торжественная и трогательная встреча, они подружились в Донецке на облпартконференции райпрофактива и так далее, все в том же духе. Они посовещались с Зенковичем, как лучше перевести это для Ив, что переводить, а что нет. Переводить ли, например, что один из них заведует отделом областной партийной газеты, или просто сказать, что он журналист из Донецка. И как перевести, что Донбасс – это всесоюзная кочегарка.

– Переведу, не беспокойтесь, – сказал Зенкович. – Какие же еще бывают газеты, кроме партийных. И не обязательно переводить все слово в слово. Главное, чтоб адекватно…

– Во-во, – сказал один из «стариков», – главное – дипломатия.

Зенкович отметил, что Ив старательно переписала в книжечку адреса новых знакомых, и усмехнулся: он сам тоже был великий путешественник и знал, как полезны адреса в дороге.

Когда они вышли из ресторана, она крепко сжимала его руку, из чего Зенкович заключил, что привозная перцовая оказалась непривычно крепкой. Он отметил также, что прохожие провожали ее взглядом: она была хороша и она была ни на кого не похожа здесь. Как же он, лопух, не разглядел этого сразу. Впрочем, ему было простительно: он спешил к зубному, противно шатался зуб, и весь мир шатался, рушился вокруг него в эту зиму.

Зенкович предложил ей осмотреть древний монастырь, и она согласилась. Монастырь – это было беспроигрышное мероприятие: на помощь Зенковичу там приходили строения, древние фрески, древние легенды – и собственные воспоминания, связанные с этими строениями, этими легендами и этими фресками. Зенкович неплохо разбирался в русской старине. Ко всему прочему сразу за стенами монастыря начинался квартал, в котором жил Зенкович. Так что было вполне естественно для них обоих, натаскавшись по древнему кладбищу и наговорившись вдоволь, зайти к нему домой попить чаю, выпить вина и закусить, полистать книги…

Они обошли вокруг любимой его церкви Вознесения, и Зенкович в который уж раз отметил легкую стройность церкви и словно бы отрешенность от всего, что ее окружало, – от строений последующих веков, от безобразия нового жилого квартала, от одиноких парочек в тени деревьев. Зенкович подумал о своей спутнице: интересно, что она могла думать об этой древней, прекрасной церкви? Какие могли у нее возникнуть ассоциации? Что она могла ощущать? Для него все заключалось как раз в этих ощущениях и ассоциациях, в чувстве родства, совместной отрешенности и опальности, но она, при чем тут она?

– Очень красиво, – сказала она вежливо, – очень красиво. Но ты говорил мне, Сьоми, что много таких церквей было разрушено. Отчего же ты не протестовал? Отчего вы не устроили мирную демонстрацию и кампанию в защиту?

– Не помню отчего, – сказал Зенкович, – вероятно, я был в это время занят. Или отдыхал на курорте.

…Дома она уселась в углу на ковре, подобрав ноги под широкую юбку, а Зенкович метался по кухне, отыскивал в шкафах и холодильнике разнообразные, забытые в его бесхозности продукты питания и с торжеством ставил перед ней. Она попивала вино маленькими глоточками и, судя по всему, чувствовала себя совсем неплохо в его холостяцком дому. Ее синие глаза смотрели исподлобья мечтательно и нездешне. Она курила неумело и вычурно, держа сигарету между пальцев.

«О чем она думает?» – мучился Зенкович.

– Во Франции я была вот в такой же комнате, – сказала она вдруг, – и в Сан-Франциско… И в Хайфе…

Он подумал об этой птичьей свободе перемещения и почувствовал легкий укол грусти, пожалел себя грустью свободного и все же скованного в пространстве.

– А вот один раз в Дагестане… – сказал он.

Они очень естественно перебрались с пола на его широкий диван, листали там книжки, разговаривали, курили, целовались. А потом он обнял ее крепко-крепко, она задышала чаще, вцепилась ему в спину, зашептала:

– Не надо, не хочу…

Но при этом она не отпускала его, сама все крепче прижимала к себе, расцарапывая ему спину в кровь, – и эта жестокость ее, и эта мягкость, и нежность, и скорое ее забытье, и удивительная, тающая гибкость ее тела – все это привело Зенковича в состояние умиленное, благодарное… Пластинка тихо поскрипывала в углу, забыв остановиться, на кухне забытый звонил телефон, пророча на миг отступившие неприятности… Она вдруг стала тихим шепотом рассказывать о своем неприютном и жестоком детстве, о странных родителях, о давно покинутой родине, благодатном зеленом Квинсленде у синего океана… И ему стало ее жалко, потому что у него были нежные родители и нежное детство – в суровой стране, в суровое и жестокое время. Ему захотелось оградить ее от этого большого, открытого и равнодушного к ней мира с его

мучительной свободой и необходимостью выбора. Оградить и себя от вчерашних и завтрашних неприятностей, от своей беззащитности перед прошлым, вырваться из грозовой атмосферы, в которой он жил все последнее время.

– Ну вот, приезжай сюда, – сказал он, гладя ее шелково-мягкую спину. – Приезжай. Поженимся…

Неуместное, грустное это слово сошло с его губ свободно и нежно, точно предвещая тихую радость и непережитое наслаждение. Точно это не он все расхлебывал и расхлебывал целых полтора года последствия такого же вот умиленного состояния, посетившего его лет десять назад в возрасте хотя и не юном, но все же более простительном, чем теперь.

Она промолчала, он склонился над ней, и они снова ушли без оглядки в занятие, в котором поначалу лишь хотелось доказать ей свою благодарность, свою силу и в котором позже, уже без всяких мыслей, он пережил редкостную отдачу, и радость утомления, и близость.

Потом они сидели раздетые на ковре, пили чай – тихо мурлыкала музыка.

– Вот! – сказала она, прислушавшись, и он подумал, что не знает и вряд ли узнает когда-нибудь, с чем связано это ее «вот», с чем связана для нее эта музыка, как она воспринимает ее. И еще он подумал, что это и не важно, раз такое вот приходит освобождение, такая самоотдача, такое их странное уединение, на краю света, тайком от всех – двое прекрасных пасынков мира, а может, и баловней судьбы (такими представали они сейчас разнеженному взгляду Зенковича)…

Потом он проводил ее до дома, где она гостила у своих квинслендских друзей-дипломатов, и они еще долго обнимались в подъезде и на лестнице, презрев все соображения о возможных наблюдателях, долго ласкали друг друга, то распаляясь, то тихо грустя, потому что завтра ей надо было уезжать – то ли в Лондон, то ли еще дальше – на край света, в этот невообразимо далекий Квинсленд.

Эти объятия на лестнице, этот вечер, воспоминание о мягкой ее ласке и синих отрешенных глазах надолго остались в его памяти, намного дольше, чем глубокие следы ее царапин, – остались и сопутствовали ему в путешествиях и злоключениях этого лета.

Летом он долго пытался выпросить своего мальчика, чтобы уехать с ним отдыхать. Потом, отчаявшись и окончательно издергавшись, улетел один на Север. Там он плыл однажды на теплоходе с бригадой молодых актеров из Москвы. В Баренцевом море нещадно качало, и Зенкович впервые испытал здесь приступ морской болезни. Сострадательная, полногрудая второкурсница из Московского театрального института принесла ему кружку крепко заваренного чая. Зенкович грелся этим чаем в углу, на койке, потом задремал… Он проснулся среди ночи. Теплоход шел в тумане. Ревел тифон. Полногрудая актрисуля уже спала в своей каюте, Зенкович понял, что больше не уснет – из-за сердца и крепкого чая. Он заснул только под утро, а проснувшись, узнал, что актеры уже сошли на берег, оставив ему письмецо и телефоны. В эту ночь он насочинял множество стихов – про свою неприкаянную жизнь, про гнусный ненужный Север и доброту полногрудой актрисочки, угостившей его чаем…

В сентябре он встретил ее после занятий на Новом Арбате, и они, не сговариваясь, замахали машине с зеленым огоньком.

– Ко мне? – спросил он.

– Да, – сказала она. – Как ты хочешь. А что-нибудь выпить найдется?

– Здесь. – Зенкович хлопнул по объемистому портфелю, где умещались и рукописи, и словари, и одежда, и закуски, и вино.

Она была очень молодой, нежной, искушенной. Она любила театр. Любила вина – всякие. Любила мужчин и готова была полюбить Зенковича. А может, уже и любила его, к исходу для. Она уехала на занятия рано утром, оставив сдержанно нежную записочку, но явилась уже среди дня – сбежала с занятий. Она была немногословной и неутомимой. Как только она видела, что

Зенковичу больше не хочется ни есть, ни заниматься любовью, она убирала со стола, застилала постель, наливала себе вина и открывала тетрадку с ролью. Звали ее Василиса.

Зенкович был приятно удивлен, обнаружив, что при ней можно работать. Можно разговаривать, а можно также и молчать. Она не мешала, не раздражала, была бесшабашна и добра. У нее были тонкие аристократические руки и белая нежная кожа. Любое грубое прикосновение оставляло на ней пятна. Это было неудобно и однажды подпортило ему настроение. Он уехал в командировку на неделю, а вернувшись, обнаружил, что ноги ее над коленями покрыты свежими синяками. Из опыта семейной жизни он неплохо знал происхождение таких синяков. Она рассмеялась и ответила фразой, которой он сам же ее научил: «Спала только с вами». Он с раздражением подумал, что ему этого и впрямь, видно, хочется («Тогда что же, и уехать нельзя? Да, вероятно, нельзя. От нее нельзя. Ни от кого нельзя»). К сожалению, она не ограничилась этой прекрасной фразой и рассказала, что к ней приставал сокурсник. Они учили роль, и она оставила его ночевать у себя, но пригрозила «выкинуть его в окно», и он, конечно, испугался. Зенкович при всем тупом старании не смог бы поверить в эту историю. Он вздохнул и решил про себя, что все обречено на скорый конец. Он даже не ожидал, что это его так расстроит. Когда она позвонила под вечер и, как обычно, спросила своим низким грудным голосом: «Я еду?» – он сказал, что будет занят сегодня.

Василиса звонила в эту ночь трижды, и Зенковичу было ее жаль, хотя он слышал, что она пьяная, и понимал, что она сидит где-то в компании, где, скорее всего, не ведут интеллектуальных споров, а делают что-нибудь более привычное и доступное.

Василиса безропотно звонила каждый вечер той недели и чувственным басом осведомлялась, можно ли ей приехать. В конце концов она вернулась на свои позиции и мирно проводила Зенковича в новую командировку. А по возвращении он нашел новые созвездия синяков на ее полных белых ногах. Впрочем, это было не главное: еще до этого, позвонив из аэропорта сыну, он услышал от бывшей жены, что по некоторым новым семейным обстоятельствам ему сейчас лучше было бы пореже встречаться с мальчиком… Дома он очистил переполненный почтовый ящик и увидел продолговатый, не наш конверт. На нем адрес, написанный по-русски детскими каракулями, и английскую марку. Это было письмо от Ивлин. В конверт была вложена и фотография. Ив стояла среди зелени в длинном белом платье, настолько странная, нереальная и несовместимая с пейзажем, что, будь это живописью, художник в случае коммерческой необходимости мог бы говорить о сюрреализме. Письмо было нежным и печальным, английский язык правильным, изысканным и литературным (Зенкович припомнил, что она год или два училась на филологическом у себя дома: вот она сидит, одинокая и прекрасная, в доме у друзей, которые сейчас в отъезде; пятиэтажный дом стоит в парке, в доме пусто, и Темза плещет внизу; если он позовет ее, она приедет, ей понравилась Россия, а его янтарные глаза так нежно мерцали в полумраке. Она помнит его сладкие речи, его предложение, его обещания… она решилась, пусть только он напишет…).

Василиса выпила стакан вина и терпеливо ждала, пока он перечитывал письмо. Она вымыла посуду, повозилась немного в ванной, перестирала грязные вещи из его рюкзака.

– Что нового? – спросил он рассеянно.

– Одна девочка из общежития украла женьшень. И тут же стала предлагать – кто купит? Такой шум.

– Ай-яй-яй, какая глупая девушка. – Он поцокал языком. – Откуда берутся такие? Еще что хорошего?

– Я буду играть Катерину. Мне все завидуют.

– Роль завидная… Ну а кого еще выбрасывали в окно?

– Спала только с вами…

И все же она очень спешила погасить свет.

Ночью он встал попить, зажег свет, откинул одеяло.

– Ого! – сказал он. – Много же мы навыбрасывали за окошко…

И рассмеялся беспечно: Темза лепетала где-то под окном пустого пятиэтажного дома… Бывает же такое.

Воспоминание о лепечущей Темзе и его собственных янтарных глазах спасало Зенковича в последующие месяцы от слишком серьезного отношения к своим семейным и переводческим делам. Василиса вела себя безупречно, была нежна и предупредительна. Она была добрая девочка. Заработав десять рублей за ночную массовку, она являлась к нему домой, увешанная подарками и продуктами. Зенкович с тоской думал, что если б можно было никогда не оставлять ее одну… И если б она еще поменьше пила.

Часто она рассказывала Зенковичу, кто посягал и кто предлагал. И как она устояла. В простоте душевной она полагала, что этим удается поддерживать его ревность и заинтересованность на определенном уровне. Рассказы эти только усугубляли его чувство безнадежности. Тем более что уже на середине рассказа становилось ясно, что отказать она не смогла. Зачастую коллеги-поклонники провожали ее до подъезда его дома. При этом они не просто сопели или, скажем, тискали ее пышную грудь, ноги, но и также, по свидетельству Василисы, говорили какие-то «очень точные» и даже «где-то пророческие слова» о ней самой и об искусстве. Запомнить этих слов она не могла, так что Зенкович их, к сожалению, не услышал, а ему так нужны были пророческие, хотя бы «где-то пророческие» слова, «точные» слова, об искусстве или о ней. Впрочем, однажды ей удалось донести до дома суждение (и даже акцент) иностранного режиссера, посетившего их курс: довольно противно выворачивая «э», он назвал ее «сэксторпеда». Мнение это заставило Зенковича призадуматься над классификацией сексуального оружия: он-то считал Василису заблудшей телкой, сладкоежкой и пьянчужкой, очень доброй и шлюховатой. Ее желание тереться обо все на свете нежными щеками никак не ассоциировалось у него с сексуальным взрывом. Впрочем, режиссеру было, наверное, виднее, к тому же он употребил это выражение, вероятно, в каком-то своем, профессионально-театральном смысле…

В конце месяца Зенкович получил телеграмму о том, что Ив приезжает в субботу днем, берлинским поездом.

В пятницу вечером, услышав по телефону бодрый басок Василисы, Зенкович сказал, что приехать к нему нельзя. «Ну что ж, – сказала она упавшим голосом. – Где б напиться?» Сердце у него сжалось, но он должен был побыть сегодня один, подумать. Василиса позвонила среди ночи и сказала, что они пьют очень славно, хотя слишком много приставаний. Зенкович промолчал. Он думал о том, что с этим надо было кончать в любом случае и что вот оно – будет наконец другое. Однако мысль эта не успокоила его окончательно: другое, другое… А что другое?

Он думал об этом на вокзале, в ожидании поезда меряя шагами перрон. Знакомые ему голоса дикторов московского иновещания на разных языках возвещали прибытие берлинского поезда. Зенкович пытался представить себе, как она сейчас выйдет из поезда, как шагнет ему навстречу… что он скажет ей, что он должен сказать…

Она вышла в сопровождении рослого симпатичного африканца и долго жала ему руку, прощаясь и благодаря за помощь. Зенкович ждал возле ее чемодана, который поставил на перрон африканец. Носильщики не торопились ему на помощь. Но вот Ив подошла наконец, чмокнула его в щеку, оглядела перрон. О чем она думала при этом? Может быть, о том, что вот она, Земля обетованная, и вот он, ее суженый. Может, просто припоминала, не забыла ли чего в вагоне. Зенкович, совладав с любопытством, поволок дальше свою ношу.

Ив подозрительно взглянула на его мрачное лицо и спросила:

– У тебя что-то лицо кислое. Может быть, ты расист?

– Нет, – без убеждения возразил ей Зенкович. – Если бы этот человек был желтый, красный, белый или синий – лицо мое оставалось бы таким же черным и кислым.

– Да? – Она взглянула на него так строго, что Зенкович порадовался в душе: в чем, в чем, а уж в расизме его не упрекнешь…

Дома Зенкович накрыл на стол, но Ив задумчиво пожевала творогу, похвалила черный хлеб и отодвинула тарелку. Не сговариваясь, они встали и пошли к постели.

Она была такой же ненасытной и нежной, какой он помнил ее: она таяла, становясь вдруг совсем маленькой и словно бескостной, потом воскресала, обретала прежнюю длину и упругость и что-то пришепетывала по-английски, что он пытался перевести и не мог. Особенно часто она повторяла слово, напоминавшее «дорогой», но при этом первый звук она оглушала, пришепетывая по-детски. Может, она лепетала от нежности. А может, это было вовсе не «дорогой», а какое-нибудь другое, жаргонное слово, которого он не знал. Спросить было неудобно. Впрочем, это ведь было не важно, потому что ему было хорошо. «Хорошо, – думал он, – очень хорошо… Пусть будет так, вот так, и не кончается никогда…» Однако все кончилось еще до наступления сумерек, надо было вставать и думать над будущим, хотя бы над самым ближайшим будущим…

Зенкович встал, позвонил, и они стали собираться в гости. Ив надела на себя что-то просторное, белое, какой-то странный балахон, который вряд ли решилась бы надеть самая экстравагантная русская девушка. Однако ей было можно, ей все было можно, и ей удивительно к лицу был этот балахон, а золотые волосы, падавшие на плечи, делали ее похожей на фею. Во всяком случае, так сказали Зенковичу и его школьные друзья, собравшиеся по какому-то семейному поводу на квартире одного из самых старых его друзей в Теплом Стане.

Перед уходом из дому, когда Зенкович уже гасил свет, Ив вытащила из чемодана шоколадку в фольге, когда-то напоминавшую своей формой слона, однако изрядно помятую и утратившую форму. Ив предложила взять эту шоколадку в подарок детям его друга.

– Помялась, – сказала Ив, с нежным сожалением гладя шоколадку. – Нет, знаешь что, лучше мы отдадим ее дочке твоего брата… Или детям твоей сестры…

Зенкович, уже успевший запихнуть в портфель все подарки для детей и взрослых, одетый томился в прихожей, ожидая возлюбленную.

– Мы возьмем эту штучку ко всем по очереди, – сказал он. – Я жду, милая. Идем…

В метро все смотрели на них, конечно, из-за нее, впрочем, может, еще и потому, что они являли такой яркий и предосудительный контраст черного и белого, нашего и не нашего. Ив, конечно, замечала это внимание, но оно, вероятно, было для нее привычным, к тому же она была занята сейчас Зенковичем – она гладила его руку, иногда чуть приоткрыв влажные губы, касалась его щеки, его глаз, рта и шептала, зверски уродуя его простое русско-еврейское имя: «Сьоми», «Соуми», «Сомми», «Семми».

Ив очень понравилась его друзьям, а их жены, его старые (уже во всех смыслах старые) институтские подруги, отводили Зенковича на кухню и говорили, что она чертовски, удивительно мила, держись за нее, Сема, вот оно, твое счастье, найденное прямо на улице, – забудешь немножко свои невзгоды, родишь новых детей и, как знать, может быть, съездишь в этот самый заморский Квинсленд. Это последнее, довольно наивное пожелание толстая усатая Люба, жена его товарища, комментировала фразой из знаменитого анекдота про сторожа и слона в зоопарке:

– Съездить-то он съездить, да хто ж его пустить.

Зенкович объяснил Ив, что в этом анекдоте говорилось про наивного посетителя, который, прочитав на клетке слона, что славное животное съедает в день сто килограммов картофеля, полцентнера моркови, тридцать литров молока и так далее, воскликнул в изумлении:

– Неужели он все это может съесть?!

В ответ на что и услышал от сторожа, подметавшего клетку, эту вот самую фразу: «Съесть-то он съесть, да хто ж ему дасть».

Зенкович кончил переводить, но Ив все еще смотрела на него выжидающе, из чего он заключил, что анекдот то ли непонятен ей вообще, то ли теряет смысл в переводе. Вообще, ему приходилось очень много переводить сегодня: оказалось, что большинство его друзей напрочь перезабыло английский, а те, кто говорили, выражались настолько странно и неточно, что он раздражался и поневоле снова влезал в разговор.

Говорили они с ней о всякой ерунде. О том, сколько кто получает здесь и сколько кто на Западе, сколько где платят за квартиру и почем пара обуви… Они так все набросились на Ив с расспросами, как будто эти темы не были говорены-переговорены и по-прежнему представляли животрепещущий интерес. Ив с большой готовностью сообщила им, что жить на Западе очень плохо и трудно, что мяса она не ест, а получает всего сто сорок фунтов в месяц, из которых большую часть откладывает на путешествия. Друзья Зенковича взялись с большой серьезностью доказывать Ив, что, во-первых, их сто пятьдесят в месяц еще меньше ее ста сорока фунтов, во-вторых, они работают одиннадцать месяцев в году, а путешествуют только один, в пределах своей страны, и то приезжают в долгу как в шелку, тогда как она, насколько они поняли, путешествует восемь месяцев в году. И здесь они особенно напирали на тот пункт, что она может поехать куда ей только захочется, а они всюду хотят и почти никуда не могут…

Ив со страстью отвечала, а Зенкович насмешливо и лениво переводил им, что это даже очень хорошо, что они не могут никуда поехать, потому что человек распыляется, носится по свету без толку и не приносит пользы своей родине, не может приобрести профессию – вот хотя бы и она…

Вообще, Ив находила в положении русского интеллигента множество разных преимуществ. Во-первых, он ближе к земле, прочнее стоит ногами на реальной почве (Зенкович не мог бы объяснить это друзьям или кому бы то ни было, а потому просто переводил). Кроме того, русский интеллигент менее распропагандирован, чем западный интеллигент. Снисходя к их растерянности, Ив объяснила, что русский интеллигент знает, с какой стороны ему ждать удара пропаганды, и потому он сопротивляется ей, тогда как западного интеллигента пропаганда застает врасплох и оттого дурачит с большей легкостью…

Угощение было прекрасное, и Зенкович обрадовался несказанно, когда его школьный друг Витя, тихий инженер, кажется, старший инженер, а может быть, даже главный (сто восемьдесят в месяц), вдруг заговорил по-английски и взял на себя говорильно-переводческие функции. Зенкович видел, что друзья его не спешат согласиться с Ив и оставляют за собой жалкое право решать самим, чего у них больше и чего меньше. Что касается Ив, то ей, кажется, понравилась ее миссионерская роль. Зенкович с облегчением отметил, что она, снисходя к жизненному опыту его друзей, который она, кажется, отождествляла с жизненным опытом Солженицына, не запрезирала их слишком уж сильно за их мелкобуржуазную недалекость.

В течение ужина случился и еще один мелкий инцидент, который прошел без особых последствий для всех, кроме Зенковича, у которого разболелась голова. В кухне был включен репродуктор, и вот, помогая хозяйке переносить из кухни еду, Ив краем уха услыхала торжественный голос диктора, сопровождаемый бравурной музыкой. Она спросила, о чем говорит радио, и тогда услужливый Виктор включил передачу в комнате и в кухне на полную катушку. Передавали предпраздничные обращения и лозунги. Гости прервали беседу и выслушали все – и гром оркестра, и призыв безмерно повышать добычу угля, повышать производительность труда, увеличивать экономию, а также что-то еще…

– Уже можно выключать, – сказал Зенкович. – Я все понял.

Но Ив заупрямилась, и хозяин не мог не пойти ей навстречу. И вот они добрых полчаса сидели, оглушаемые радио, и растерянно слушали. В заключение Ив объяснила им, что все это очень интересно, очень здорово и, наконец, просто трогательно. Ну а кончилось тем, что у Зенковича разболелась голова и он предложил собираться домой.

Их уговаривали остаться, посидеть еще. Ив, по просьбе хозяйки, рассказала, где она была за последний год, и друзья Зенковича долго слушали перечисление, включавшее Францию, Турцию, Италию, Венгрию, Израиль, Грецию, ФРГ, Чехословакию, Югославию и еще несколько мелких стран. Гости притихли. Может быть, им стало грустно при мысли, что они никогда не увидят этих прекрасных стран, что жизнь их проходит так быстро, а вот эта девочка, почти ребенок…

Зенкович почувствовал, что ему тоже стало чуточку жаль себя, и поднялся со стула.

Когда они прощались в передней, жена школьного друга спросила, есть ли в Квинсленде птицы – нелепый вопрос, достойный стареющей женщины, которая все еще считает себя прелестным, резвым ребенком. Ив ответила с готовностью и величайшей серьезностью:

– Да. И очень большие.

– Большие птицы, – восхищенно качая головой, повторила бывшая резвушка, а добрая усатая Люба обняла Зенковича за плечи (Боже, за десятилетия дружбы все эти жесты становятся механическими!) и сказала: «Ну вот, Семчик, увидишь больших птиц», на что Зенкович, прощально чмокнув ее в щеку, ответил ее же собственной фразой: «Да хто ж ему дасть». Он подумал при этом, что жизнь прекрасна, все прекрасно, и размеры птиц занимают в нашей жизни так мало места, однако ему приятно было, что и «большие птицы», и его заморская птичка произвели на его друзей такое глубокое впечатление. Преодолевая головную боль, он простился со всеми и вытащил Ив на улицу. Она волокла за собой целый пакет подарков – всякая там хохлома, и резьба, и даже культовая мелкая пластика, содранная со старообрядческих кладбищ, – все, что не жаль отдать такому дорогому, не нашему гостю.

Они вышли на темную улицу, которая упиралась в пустырь. Дальше смутно видны были лес и мерзостная свалка, окружающая новостройку. Низко в небе прогрохотал самолет. Потом стало свежо и тихо. Зенкович сказал, успокаиваясь: «Вот скоро я куплю здесь поблизости квартиру. Будем ходить к Вите в гости». Ив погладила его по руке и сказала, что Витя ей очень понравился. Потом она спросила, не может ли он лучше купить квартиру где-нибудь в центре в одном из старинных домов (она видела там два или три совершенно замечательных). Зенкович не стал ничего объяснять, поцеловал ее умиленно, и они доехали до метро в обнимку. «Твои друзья очень добрые», – говорила Ив время от времени, встряхивая пакет…

Он даже не сразу понял, что произошло на пустынной станции метро (он видел лишь, как заметалась, закричала старушка контролерша, услышал свистки, суматоху – потом поспешил на помощь Ив), а когда наконец разобрался, ему стало нестерпимо стыдно и перед старушкой, и перед случайным пассажиром, и даже перед второй контролершей, толстой и рыжей теткой, которая была совершенно счастлива, что представился случай побазарить.

Выяснилось, что, пока Зенкович менял пятаки, Ив сделала довольно ловкую, однако все же неудавшуюся попытку пройти в метро без билета, и даже после того, как он объяснился со всеми на станции и они отъехали несколько остановок, Зенкович, безмерно сердясь на нее, да и на себя тоже, за то, что принял этот полузабытый школьный трюк так близко к сердцу, все еще продолжал спрашивать ее с недоумением:

– Ну зачем это? Как можно?

Ив объяснила, что она очень ловко умеет ездить без билета, а в Лондоне однажды ездила так в автобусе целый месяц, сэкономив большую сумму. Транспорт в Лондоне (да и во всех остальных городах) очень дорог, так что она только противится таким образом бессовестному ограблению и борется с миром наживы. Зенкович был в полной растерянности, не знал, что сказать. Потом, уцепившись за слова о наживе и ограблении, он объяснил ей уныло, что транспорт здесь принадлежит социалистическому государству. Он успокоился только тогда, когда выдавил из нее обещание больше не ездить без билета.

Дома они угрюмо раздевались, изредка перебрасываясь замечаниями насчет ванной, воды и зубной щетки. Зенкович отметил, что она аккуратно развесила на стуле свою кофту-

балахон и юбку, сбросив зато все лишнее с постели прямо на пол. Он прошелся по комнате, поднимая с полу подушки, наволочки, одеяла, с усмешкой припоминая при этом, что уборка в этой квартире для него почти всегда состояла в том, что он собирал лишние вещи с пола. «Ну что ж, – подумал он, – прибавится уборки, и только».

В самый дальний угол Ив зашвырнула его пижаму. Она сказала, что пижам не потерпит, потому что спать нужно голым, и только голым. Зенкович покорно спрятал пижаму в шкаф и теперь лежал один в зябком ожидании. Она ходила по комнате, ища что-то на полу: может быть, он нарушил порядок, в котором были разбросаны по полу постельные принадлежности. Хождение нагишом казалось для нее естественным, и Зенкович подумал, что у себя, в жарком квинслендском раю, они, может быть, всегда ходят голыми, ходят босиком и все кладут на пол. Потом Зенкович унял свою праздную фантазию, вспомнив, как редко обнажаются в жарких странах. Вероятно, этот нудизм был плодом цивилизации и неистового стремления Ив к натуральности, к освобождению от чего-то ненавистного, с чем она боролась все время, к месту и не к месту используя терминологию из его школьных учебников – буржуазия, капитализм, классовая борьба.

Тело ее незапятнанно белело, солнце южных стран не оставило на нем следа. Зенкович любил загорелую кожу, однако с годами он стал отчего-то все меньше ценить спортивную, юную упругость форм, все больше вожделеть податливой мягкости. Ив была мягкой, словно бескостной, таяла, растекалась, исчезала в его объятиях. Она была довольно высокая, но, когда прижималась к нему, он начинал чувствовать себя большим, почти огромным. Но прекрасней всего было то, что его объятия так сильно ее волновали, что он значил для нее в постели так много. В забытьи, в безумстве она снова и снова шептала ему полупонятные английские слова, а потом гладила его долго-долго, остывая с трудом.

Они лежали в полудреме, когда Ив вдруг вспомнила, как суетилась и квохтала сегодня старушка контролерша в метро. И она засмеялась счастливым и дерзким смехом. Она, конечно, заметила, что вся эта история и даже теперешний ее смех шокируют Зенковича, и спросила:

– А ты разве никогда не крал в магазинах самообслуживания?

– Еще нет, – надменно сказал Зенкович, пожалев об ускользающем забытье, – как-то не приходилось…

– Мы с Томом икру на Рождество в Швейцарии украли… Целую банку икры.

– Засранцы вы с Томом, – буркнул Зенкович беззлобно, снисходя к их молодости и аппетиту.

Но Ив не приняла его снисхождения.

– Дело в том, что швейцарцы такие честные. Они совсем не следят…

– Основание достаточное, – сказал Зенкович ласково, но Ив продолжала смотреть на него с подозрительностью. Она не уверена была, что ей удалось его убедить.

– Было Рождество. И нам так хотелось икры. К тому же нам понравилась икра. Она была очень вкусная. А швейцарцы такие честные…

– Да, да… – кивал Зенкович растерянно.

Он понимал, что должен сказать что-то. О Боже, если б это все происходило с ним в юрте, в экзотическом вигваме, в горном кишлаке, в общаге текстильной фабрики где-нибудь в Сыктывкаре, он бы со спокойной душой поддакивал и царапал украдкой в своем блокноте, на будущее… Но с этой ему ведь жить. Это и есть его будущее. И, преодолев оцепенение, он начал свою проповедь, заговорил сбивчиво и нудно, чувствуя, как неубедительно звучат его слова и главное – неинтересно, ну да, неинтересно… Она, вероятно, уже слышала все это сто раз, и ей было неинтересно… Он начал с того, что его мало порадовал этот рассказ. Что ему нечем оправдать унижение воровства: ведь они даже не были по-настоящему голодны. Кроме того, они украли не хлеб, они стащили икру, то есть стремились к той же самой роскоши, к которой стремятся богачи, к самому изысканному продукту, к исчезающим ценностям планеты. Они

продали бессмертную душу за эту хамскую роскошь, то есть они ничем не лучше богачей и даже хуже их – потому что пошли ради этой роскоши на сознательную низость. Вот он, Зенкович, жил в справедливом обществе, и то он никогда не вожделел того, что хватали жлобы и стяжатели, не вожделел той же икры из закрытых буфетов… Мама говорила ему в детстве, что красть дурно – что там еще… Ну, что еще дурно?

Ив сказала, что он просто ничего не понимает. Он никогда не жил в обществе, в котором богатства распределены так неравномерно. Он ведь не знает, как туго им пришлось в Швейцарии. Он когда-нибудь работал на кухне в посудомойке? Да, приходилось, в армии – Зенкович содрогнулся при воспоминании об исступленно жарком среднеазиатском полдне, о провонявшей посудомойке с сальными кафельными стенами, о мутной воде, приносимой из дальнего арыка, о сотнях сальных мисок с кусками бумаги и хлеба, с окурками, воткнутыми в кашу. Да, мне приходилось, бедная моя девочка… Она там еще работала вдобавок в прачечной, а вечером помогала югославке стелить постели. Это было в Швейцарии, в отеле для горнолыжников; до того они два месяца колесили с ее Томом по Германии и Венгрии, деньги кончились, когда им сказали, что в Швейцарии можно неплохо заработать. Она возненавидела горнолыжников – загорелые немцы, которые ничего знать не хотят, кроме своих лыж, так довольны собой, все время смеются, и – лыжи, лыжи, лыжи…

Хозяин отеля был урод, калека, все части тела у него были деформированы. В конце срока он вдруг сказал, что ничего им не заплатит, потому что у них нет разрешения работать в Швейцарии и к тому же они плохо работали. Зенкович представил себе, как она возится в посудомойке и в прачечной, ни слова не понимая ни по-немецки, ни по-французски, ни по-сербски…

– Мы с Томом часто ругались тогда и хотели расстаться.

…Вот они приходят после работы в свою комнатку, недовольные друг другом, они слышат, как жизнерадостно смеются в ресторане немцы-горнолыжники, всему предпочитающие эти ненавистные горные лыжи – всему на свете, даже Бобу Дилану, даже Че Геваре…

Зенковичу стало мучительно жалко ее, он почувствовал себя одним из сытых горнолыжников мира. Он вспомнил душевную муку, с которой приехал совсем недавно в свой первый в жизни горнолыжный отель после развода с женой. Вспомнил медленное и неверное исцеление – благословенные горы, благословенные горные лыжи, благословенный ледяной воздух гор и голубые льды, к черту ваш наивный биг-бит с его полудетской, косноязычной программой коренного переустройства мира… В полумраке Зенкович гладил ее бедное юное тело, впервые сознавая, что оно и многоопытно и многострадально, может быть, намного многоопытнее и намного многострадальнее, чем его собственное, уже не совсем молодое, но тоже еще гладкое, дочерна загорелое во многих странствиях тело. Он гладил ее, он жалел ее, прозревая. Нет, «прозревая» – неточное слово, он ведь никогда и не думал, что где-то там, за Альпами или Пиренеями, лежит рай земной: он слишком много переводил английских и американских авторов, чтобы верить в рай, который может рождать такую боль. Однако многие вокруг него свято верили, да и он начинал верить в это иногда, машинально, конформно, в силу привычки, инерции и еще – вероятно, протеста против своего собственного, здешнего, столь несовершенного рая. Он гладил ее, жалел, но тело ее вдруг напряглось, выпрямилось: она не принимала, не хотела его жалости.

«Плохо?» – спросила она. Нет, ей было не так уж плохо, подумаешь… В прачечной там были совершенные машины, она справлялась без труда. В посудомойке тоже были машины. А до того путешествовали два месяца по Европе на свои более чем скудные сбережения. Она проработала месяц, они купили грузовик-фургон. А Том не работал вовсе. В конце концов там, в Швейцарии, хозяин заплатил им целую кучу денег.

– Мне кажется, в душе он нам симпатизировал… – сказала она.

– Это естественно. Тебя нельзя не любить, – сказал Зенкович, и она серьезно кивнула – да, все встречные ее любили.

Зенкович отметил, что самоирония не входит в ее юный арсенал юмора. Но она, вероятно, права, ее не следует жалеть, в конце концов, она поехала туда для удовольствия, работала добровольно, только для удовольствия, не из чувства долга, не из нужды. Она не заслуживала жалости. И тогда Зенкович пожалел себя, потому что он уже включен был, кажется, в эту жизнь, где нет долга и нет жалости, нет добрых маминых заветов о том, что хорошо и что дурно, а есть только преходящее удовольствие и безжалостный протест против несправедливо не нами устроенного мира. Мир этот нужно выпотрошить, как старую игрушку, а может быть, и сжечь в огне большого нового пожара, который помогут разжечь смелые, бескомпромиссные люди – Лев Троцкий, председатель Мао, Арафат, Бобби Сил из «Черных пантер», Шмобби Фил из новой битовой группы, режиссер Годар из Франции и еще кто-то, кого Зенкович уже не помнил, потому что у него была своя компания живых и мертвых – старик Швейцер и Папа Иоанн, самоотверженная мама и добрый унылый алкоголик Шмуль Нахимов из писательского дома на Аэропортовской, у которого была такая чуткая совесть, словно его собственная, давно расстрелянная мать еще расхаживает по русским городам с наганом, в кожаной куртке, творя безжалостный суд и расправу, не давая покоя своему нежному, мягкому сыну.

О, суета, суета сует и всяческая суета, ванитас ванитатум… – пробормотал Зенкович, прижимая к себе прохладную спину Ив, вовсе не надеясь, что она поймет его элементарную латынь, – он уже уразумел, что бремя старинного образования не входило ныне на Западе в число вожделенных добродетелей. Зато она поняла, что желание и сила его возрождаются, тепло задышала ему в щеку, вскрикнула, забормотала что-то на своем таитянско-лепечущем любовном английском, заменявшем ей все иностранные языки.

– Боб Дилан, Шмоб Шмилан, Троп Трилан, Троцкий, Высоцкий, Спасо-Кукоцкий… – бормотал он. – Девочка моя бедная, из края непуганых идиотов, из края непуганых птиц, больших птиц…

– Ты сказал «титс»? – вдруг спросила Ив. – У меня очень маленькие «титс».

– Нет, нет, – сказал Зенкович. – Совсем не маленькие, мне нравятся твои «титс» – твоя грудка. Все хорошо. Все прекрасно.

Глава 2

В первые дни он считал своим долгом водить ее на экскурсии, без конца таскать по городу, рассказывать ей все и показывать, вываливая на нее с радостью свои знания о городе, накопленные за долгую жизнь в Москве. Потом он заметил, что она с трудом переваривает все эти чужие названия, имена, факты чужой истории. Ну что ж, он ведь и сам давно перестал впитывать информацию. Он обнаружил, кроме того, что у нее есть свои принципиальные возражения против экскурсий. Она соглашалась поехать, ехала охотно, но потом вдруг исчезала куда-то. В одном древнем монастыре Зенкович, не успев показать ей самый интересный собор, обнаружил, что она уже забралась со своим фотоаппаратом на какую-то старую фабричку, разместившуюся в поздней церкви. Фабричка была обнесена забором и проволокой, так, что, может быть, туда вообще было нельзя, никому нельзя, а ей и подавно… После небольшого скандала он сумел увести ее прочь, и тогда она объяснила, что она против «сайтсиинг», против экскурсий как таковых. И он без труда согласился временно прекратить все экскурсии.

Поразмыслив над странностью ее поведения, он решил, что поведение это нетрудно понять. Толпы туристов бродили по планете, заползая в самые ее экзотические уголки, вытаптывая их и превращая в места массового «сайтсиинга». И конечно, ей, жаждавшей тех же странствий, но пытавшейся отстоять свою свободу, не хотелось потеть в одной толпе со всеми возле Ай-Софии или собора Святого Петра. Ей хотелось отыскать там пусть маленькое, но совершенно свое, оригинальное местечко, выцарапать свое собственное, особое впечатление и суждение. Этого требовал нонконформизм ее возраста, жажда оригинальности, необходимость утвердить собственную значимость, индивидуальность, то, что она называла «айдентити». Это было вполне естественное стремление, столь же естественное, сколь и бесплодное. Это маленькое «свое», руководимое ее настроением и волей случая, мешало ей увидеть прекрасное и вечное, хотя бы и заглаженное взглядами сотен тысяч праздных туристов…

Зенкович заметил, что она очень устает от города. Самому ему Москва давно уже была не по силам. Каждый раз, когда он получал более или менее крупный заказ на перевод, он уезжал из города и работал где-нибудь на даче или в деревне. За последний десяток лет он обжил все Подмосковье, работал в невероятных по убожеству сарайчиках и самых богатых дачах. Он был неприхотлив. Правда, в последнее время ему стали все меньше нравиться открытые уборные в поле в зимний двадцатиградусный мороз.

Вскоре после ее приезда он предложил Ив переехать в деревню или на дачу. Она с энтузиазмом приняла его предложение, и они стали собираться. Бегая по издательствам и завершая городские дела (Ив любила говорить, что он «целый день, как крот, ползает по метро»), Зенкович спрашивал у знакомых, нет ли пустующей зимней дачи (он все-таки не уверен был, что Ив перенесет тяготы деревенского быта). Однажды, обедая в Союзе писателей, он встретил старого Савву Груза. Когда-то Груз был довольно популярный сценарист (популярность сценаристов, как и популярность переводчиков, охватывает весьма ограниченный круг профессионалов). Все знаменитые шедевры Груза, вышедшие или не вышедшие на экран в тридцатые, сороковые и пятидесятые годы, были ныне прочно забыты. Среди других забытых сценаристов Савву Груза выделяла дача в Стародедове: он ухитрился скопить денег и купить у гулящего сына когда-то весьма известного, ныне покойного режиссера грандиозную (по тем временам, конечно) с хамской роскошью построенную дачу. Но хватка и работоспособность старого Саввы Груза ослабли, он с трудом поддерживал если и не былое великолепие, но хотя бы жилое состояние своего загородного сокровища, изредка приезжая туда, обходил свои владения, восхищаясь целым и отдельными его частями, а потом уезжал надолго. Величественное строение под сенью подмосковных берез пустовало. Зенкович сподобился однажды прожить в пустующем дворце целую зиму, потом забыл про него, но сейчас, встретив вдруг Савву Груза,

вспомнил все. Более того, Савва Груз, пожаловавшись на обилие работы («Киргизфильм» принял его довоенный сценарий о судьбе ишачка на большой стройке, среди новых друзей), сам предложил Зенковичу пожить на его даче. Конечно, ни о каких деньгах с Саввой говорить не полагалось (деньги брала мадам, и притом втридорога), так что под вечер Зенкович успел заехать к Саввиной жене, расплатиться и взять ключи от стародедовской дачи, где Зенковичу, как и в прежние времена, была предоставлена одна просторная комната и право пользоваться кухней, ванной и службами.

На пустынной даче все было, как в прежние, неправдоподобно далекие времена. Со скрипом открылась обвисшая калитка, запертая на три замка. На давно не метенной дорожке догнивала осенняя листва. Пока Зенкович отпирал дом, Ив с нетерпением выглядывала из-за его спины. Она почти сразу исчезла в недрах дома, и он один разбирал вещи. Видимо, новые дома были для нее привычным развлечением. Она появилась минут через сорок и шепотом позвала его. Глаза ее блестели: «Идем, я тебе кое-что покажу». Ив увела его в самую дальнюю комнату, безошибочно вынула ключ из большой связки, отперла едва заметную дверь в стене:

– Вот!

– Что вот?

Посреди стола стояла большая стеклянная забытой формы довоенная банка от огурцов.

– Да, забавно, – сказал Зенкович без особого воодушевления. – Только…

Ив не была склонна выслушивать его «только», однако он все-таки высказал ей свои соображения на этот счет. Он говорил строго, скучно и обреченно:

– Только нехорошо, что ты залезла в их комнату, Ив. Открыла их комнату их ключами – ну что тебе тут? Мы ведь еще и в своей комнате не убрались…

Она была не согласна с ним и даже возмущена его робостью – подумаешь, чужие комнаты, чужой дом, чужие ключи… Да что она их – обокрала, что ли? А если бы и обокрала… Он выступил как фарисей и трус, как сторонник проклятой собственности и жалких приличий. Все в нем возмущалось против необходимости защищаться, оправдываться. Он был уверен в своей правде и не собирался затевать дискуссию: его пустили сюда, зная, что он будет вести себя именно так, а не иначе, так что ей придется подчиниться существующим здесь правилам.

– Мне не нужно чужого, – сказал он с дрожью в голосе. – Тебе не нужно чужого. Нам с тобой не нужно чужого…

– Я все поняла, – сказала она с озорным блеском в глазах, – просто тебе очень хочется захватить чужое, и ты подавляешь в себе это желание…

Зенкович был взбешен ее доморощенным фрейдизмом и низкими подозрениями. Он молча ушел разбирать вещи, установил машинку и сел за работу. В работе было спасение и прибежище от всех трудных проблем, требующих решения, – гори оно все голубым огнем, он просто будет работать, разве не это главное?

Вечером он приготовил ужин, они поели, легли в постель и помирились. Ветер шумел за высокими сводчатыми окнами. Старый дом непонятно шуршал и шелестел, загадочно поскрипывал. Зенкович вспомнил, что много лет назад, поселившись здесь впервые, он проснулся среди ночи и услышал, как скрипит дубовая лестница, уводившая наверх, на второй этаж, в огромную барскую спальню. Зенкович встал, запер дверь, но и после того, как шаги на лестнице утихли, он еще долго не мог заснуть, лежал и думал о том, что огромный этот дом может и должен быть населен призраками. Он построен был в пору процветания великого режиссера, который, создав на тогдашнем безрыбье вполне проходимую комедию, сразу стал личным любимцем всемогущего властителя и простым миллионером полуголодных времен. Тогда он и построил эту немыслимую виллу, где растил в нелепой местечковой роскоши единственного наследника, создавал новые угодные хозяину шедевры и, наверно, вполголоса сетовал на то, что при других условиях он мог бы и что-то приличное, что-то настоящее… Потом наследник вырос, стал сильно пьющим оболтусом, устраивал бардаки среди этого убогого великолепия

вместе с наследниками других тогдашних временщиков. Кончилось все печально: под пьяную лавочку они изнасиловали и убили чью-то юную наследницу, зарыли ее вот тут же в саду, потом каялись, отбывали наказание. Могучие отцы с трудом спасли их от смерти и долголетней каторги. Великий режиссер печально шаркал ночными туфлями по огромному дому в бессонные ночи, размышлял о переменчивом счастье, а потом, в одно прекрасное зимнее утро, вдруг схватился за сердце и умер в одиночестве… Как же ему было теперь не бродить по ночам?

Впрочем, ночные шаги на лестнице, как вскоре выяснил Зенкович, были не человеческие. Это была всего-навсего огромная крыса, и хозяйка, приехав на два дня, повела с ней решительную борьбу, после чего крыса благополучно покинула дом, но по всей «просмотровой зале» теперь валялись ее дохлые крысенята…

В старых полуразвалившихся шкафах еще лежали никому не нужные режиссерские разработки и сценарии, гимны в честь мудрого, храброго, великодушного диктатора, а также свидетельства о высоких наградах, реликвии славы и власти.

Зенкович хотел рассказать Ив историю про безжалостного повелителя-вождя и его любимого режиссера, однако сдержался и рассказал только про крысенят. Что она могла понять в этой печальной истории абсурдной человеческой жизни, ужасающей тщеты всего – и славы, и богатства, и власти, и страха… К тому же это была его, их история, потому что великий диктатор был развенчанным кумиром его, Зенковича, детства. А фильмы бывшего дачевладельца были шедеврами искусства во времена его, Зенковича, юности. Потому что весь этот мусор, разбросанный по дачным шкафам, был когда-то «современным искусством», высшим достижением передового стиля. Потому что это прошлое висело над ними и сегодня. А что ей было до всего этого?

…Их жизнь на огромной пустынной даче стала входить в колею, нарушаемая, впрочем, раз или два в день небольшими происшествиями и мелкими конфликтами. Так, зайдя однажды на кухню, Зенкович, уже почти привыкший к тому, что Ив моет в кухонной раковине (затыкая ее при помощи картофелины) и овощи, и посуду, и даже крупу, вдруг обнаружил, что она моет в этой же раковине свои длинные золотые волосы. Возникла долгая и бесплодная дискуссия о чистоте и чистоплотности. Ив настаивала, что русским, как людям менее чистоплотным, не понять преимущества раковины с хорошей затычкой, в которой можно мыть все, что угодно. Зенкович старался проявить большую терпимость и разглагольствовал о том, что вообще чистота понятие относительное, а брезгливость уж и вовсе субъективное чувство. Что проточная вода, в которой еще ничего не мыли, и специальная посуда для продуктов, отдельная от посуды, предназначенной для стирки, а также от посуды, предназначенной для мытья головы или мытья ног, импонируют ему гораздо больше и не провоцируют его брезгливости.

– В проточной воде заводятся микробы и черви! – в ужасе воскликнула Ив. – От нее бывает рак! Как все-таки ужасно, что у вас нет затычек и цивилизации.

Зенкович попытался остаться академичным и напомнил, что древние славянские племена, жившие еще довольно по-свински (не более, впрочем, по-свински, чем кельтские или саксонские), неизменно уличали друг друга, а также своих ближних соседей в том, что они «ядяху нечисто».

Если не принимать в учет этих и подобных им этнографических столкновений, жизнь их протекала в первые дни в мире и любви. Иногда Зенкович уезжал на весь день в город – он виделся с сыном и «ползал, точно крот, в метро», разъезжая по издательским делам. В этом выражении Ив было все ее презрение и к городу, и к метро, и к его делам. Страдая от суеты, он склонен был с ней согласиться отчасти, однако совсем отказаться от дел не мог. Оставаясь одна дома, Ив гуляла, читала и писала письма, много-много писем домой. Глядя, как она покусывает авторучку («настоящий "паркер", очень дорогая ручка»), Зенкович вспоминал годы своей службы в армии, когда он отправлял в Москву тонны писем. Они были как отчаянная попытка навести мосты между старой и этой новой, против воли навязанной ему жизнью. Зенкович не

раз хотел предостеречь Ив от этой бесполезной траты времени, но в последнюю минуту вспоминал политотдельского капитана Гиммельфарба. Капитан вызвал его однажды и стал журить за то, что через полевую почту прошло за неделю двадцать писем от Зенковича и к Зенковичу. Зенкович крикнул тогда, едва сдерживая слезы, что у капитана все с ним, здесь, а у него, Зенковича, нет никого, а все там, за тридевять земель. У бедняжки Ивлин тоже, вероятно, все были там, за тридевять земель. Она часто писала своему Тому – издали отношения их виделись ей еще более грустными и прекрасными. Зенкович и сам питал сочувствие к этому незнакомому мальчику из неведомого мира, который, расставшись с Ив где-то на пути то ли в Париже, то ли в Лондоне, продолжал блуждать по свету, перебиваясь шоферской и барменской работой, вдали от родного Квинсленда, от богатых родителей-художников…

Возвращаясь вечером из города, Зенкович запирал на ключ калитку и подходил к единственному ярко освещенному окну огромного дома. Он видел Ив. Она сидела, свернувшись калачиком в кресле, и читала, а чаще писала. Золотистые волосы скрывали ее опущенное лицо. Словно ощутив его взгляд, она поднимала голову, отбрасывая волосы, и тогда он видел ее прекрасные, холодноватые голубые глаза. Может, она прислушивалась к шагам за окном. Может, ждала его возвращения. Ему хотелось думать, что это так, но он допускал, что она вовсе и не думает о нем. А вот о чем и о ком она думала? Что она пишет? Надо попросить ее когда-нибудь почитать ему какое-нибудь из писем. Или прочесть самому. Это будет, конечно, дурной поступок. Ну что ж, еще один дурной поступок к веренице его грехов…

Он стучал по стеклу. Ив вставала с кресла, вглядываясь во мрак. Лицо у нее было напряженное и только. Потом она шла отпирать дверь. Он привозил ей подарки. Она упрекала его за отвратительную русскую привычку часто дарить подарки. Но он ничего не мог поделать с собой: он поступал так всю жизнь.

– Мы дарим подарки только на Рождество и на день рождения, – строго выговаривала она.

– Ладно, – отмахивался он. – Вы, наверное, дарите что-нибудь шикарное… А мы так. Пустячки.

Однажды она спросила, дарит ли он сыну подарки так же часто. Он поднял голову, внимательно посмотрел на нее. И понял, что надо пощадить ее и пощадить себя. Он сказал, что нет, соврав ей впервые. Она прочла ему длинную нотацию, предостерегая, чтобы он не вздумал портить ребенка и подрывать подкупом его любовь. Зенкович слушал и жалел ее при этом, жалел себя. Что-то было в ней страшное, в педагогике этого ребенка из странного холодного мира.

В ту ночь он был особенно нежен с ней, точно с больным ребенком, и она внимательно приглядывалась к нему, прислушивалась, а потом вдруг сказала, совсем неожиданно:

– Никогда не знаю, кончил ты или нет. Напрасно ты меня обманываешь…

Может, по-английски это звучало чуть мягче («ту кам», «прийти»), однако он был шокирован. («Скинчив чи ни скинчив?» – спросила его как-то деловитая хохлушка в послеармейский год юности.) А главное – он-то размышлял, о чем это она сейчас думает…

«О Боже! – взмолился он. – Когда же я начну понимать, чем занята эта милая, золотистая головка… Надо побольше, еще больше говорить с ней, расспрашивать о прошлом, о близких, о каждом дне ее прежней жизни».

Он вдруг спросил о Томе, об их жизни там, в Лондоне.

– Том был шофером, на грузовике. О, водители грузовика в Лондоне могут неплохо заработать! – воскликнула она. – Есть такие люди, которые угоняют машины с грузом. Водитель ставит машину в условленном месте, у пивной, и идет пить пиво. А эти люди угоняют машину с грузом, груз продают, а грузовик потом где-нибудь ставят. Шофер заявляет в полицию, но не сразу. Водителю – ничего, он же не виноват. А потом ему за это дают кучу денег. Можно неплохо жить. Я сто раз Тому говорила, но он отчего-то не хотел договариваться с угонщиками.

– Может, он просто был честный, и мама в детстве…

– Нет, – сказала Ив с презрением и страстью. – Это просто его еврейская мягкотелость и трусость…

– Разве он еврей? – спросил Зенкович, пытаясь переварить историю с грузовиками.

– Да. Конечно. В Квинсленде много евреев. Все мои друзья были евреи, кроме Джейн.

– Где их нет… – сказал Зенкович растерянно. – Где же их нет… Значит, угнать грузовик… Веселенькая история.

Назавтра Зенкович стал собираться в город – он должен был повидаться с мальчиком после школы, а до того у него было еще свидание с машинисткой и с редакторшей.

– Буду ползать под землей наподобие крота, – сказал он мирно.

Ив захихикала.

– Неплохо я это придумала, – сказала она.

– Неплохо, – согласился Зенкович. Он подумал, что для представительницы англоязычной страны она все-таки недостаточно широко использует возможности английского юмора, однако кое-какое чувство юмора у нее все же есть. И это неплохо.

Ив сетовала на то, что до сих пор нет снега.

– Будет, – сказал Зенкович. – Непременно будет. Это просто неизбежно. Как победа коммунизма. Что же я еще хотел взять в город? Забыл… – бормотал он, собирая вещи.

Ив сказала, что она все больше убеждается, что в Китае коммунизм победит раньше.

– Ну и пусть их… – сказал Зенкович. – Ага, вспомнил!

Он должен взять с собой заявку на новый перевод.

Да, он еще не дописал в ней последнюю фразу, которая должна окончательно рассеять сомнения издательства и обеспечить ему работу по меньшей мере на три месяца. Про что же им написать? Вот, решено, он им и напишет про неизбежность. У него еще осталось четверть часа… Садясь за машинку, он обнаружил, что Ив куда-то исчезла.

– Неизбежна… Вот так! – сказал он, ставя точку и вынимая лист из машинки.

И вдруг услышал страшный грохот у дверей, ведущих на улицу. «Что-нибудь случилось, – пронеслось у него в мозгу. – Что-нибудь не слава Богу… Раньше или позже… И так мы с ней слишком отважно…»

Он бросился ко входной двери. Ив бежала ему навстречу, стуча грубыми ботинками. Дубленка ее (подарок сердобольной подруги из Тель-Авива) была распахнута, шнурки на ботинках (подарок из ФРГ) не завязаны до конца, лицо взбудораженное, потрясенное…

– Снег! – сказала она. – Пошел снег!

Зенкович с облегчением опустился в передней на стул и выглянул в окно.

– Да, действительно, – сказал он. – Кто бы мог подумать… Самый настоящий снег.

Но Ив не стала его слушать. Ее башмаки снова прогрохотали по коридору и затихли во дворе. Зенкович почувствовал, что по полу тянет холодом, двери были распахнуты настежь. Он вышел в сад. Входная калитка в воротах была тоже распахнута настежь. Ив не было видно. Зенкович с сожалением оглядел влажные, обреченные на скорое умирание хлопья раннего снега. Потом взглянул на часы и заспешил: пора было добираться к поезду.

Он вынул из тайника плитку жевательной резинки для сына и сунул ее в портфель (он уже знал, что резинка – это вдвойне преступно; он не только подкупал сына, но и давал нажиться западным монополиям, а также их местным пособникам-спекулянтам), уложил бумаги и быстро переоделся. Потом он вышел в сад и стал звать Ив. Ее не было в саду. Не было ее и за калиткой. Зенкович вернулся домой и увидел, что ее ключи лежат на столе. Значит, она не далеко. Он снова вышел за калитку, взглянул на часы. Он уже начинал опаздывать на поезд. Впрочем, еще можно попасть на следующий и вовремя подоспеть к метро «Дзержинская», где его будет ждать машинистка… Зенкович стоял с портфелем у калитки и чувствовал, что ожидание становится безнадежным. Он не мог уйти, оставив незапертыми калитку и дачу: в это время дня алкаши-слесаря и алкаши-монтеры то и дело тычутся в обитаемые дачи в поисках

утреннего рубля. Более того, мог вдруг нагрянуть кто-нибудь из Грузов, а дача не заперта – будет скандал. В то же время Зенкович не мог опоздать, он никогда не опаздывал, не заставлял людей ждать ни у метро, ни на углу под часами, нигде… «Не опаздывал, так будешь», – повторял он про себя, и в нем поднималась ярость. Куда она унеслась? И главное – почему не сказала ему ни слова, знает ведь, что ему уходить? А почему она должна думать о его делах? Первый снег в России – это событие, это радость, а остальное – его беготня в метро, его ребенок, его работа, его долг… У нее нет долга, у них нет долга. Какое ей дело до других, до мира, и мир и другие существуют только в данную минуту, когда они умножают твою радость, помогают справиться с голодом того или иного вида, щекочут новизной нервы… Ну вот, он опоздал на вторую электричку, он безнадежно опоздал. Зенкович поставил портфель на землю, присел на бревнышко у калитки – он был в ярости. Да что она, ребенок, что ли? Василиса, в конце концов, моложе ее. Да его собственная сестра, которая уже года три как тащит на плечах семейство, моложе ее. В чем же дело? Этот холодный мир, который в их ночные часы возникал из ее рассказов, разве этот мир располагал к безответственности? Нет, но он, вероятно, толкал к безразличию. А протест против этого мира толкал к безответственности и безделию. О, черт, но это же гнусно все, гнусно, опять, что ли, пойти, сесть работать… Он усмехнулся горестно, обреченно, он был сейчас не в состоянии работать…

Она появилась часа через полтора, устало опустилась на стул в прихожей.

– Я ходила далеко-далеко, – сказала она гордо. – В овраге нападало много снегу… Вот столько…

– Я должен был быть у машинистки в десять, – начал Зенкович тихо и хрипло. – Ты не предупредила меня. И ты не взяла ключи…

– Ну и что? – сказала Ив просто. – Знаешь, там, за рекой…

Зенкович заорал на нее – он хотел высказать все спокойно, но не смог сдержаться. Он понимал, что так нельзя, но продолжал кричать, пока не высказал все. В глазах ее были непонимание и отчуждение. Потом в них вспыхнул огонек острой враждебности. Зенкович понял, что проиграл. Он ничего не объяснил. А она привыкла к такого рода стычкам, она закалилась в них. У нее больше навыка и крепче нервы… Он пошел к дверям, не простившись, всю дорогу до Москвы ругал себя, проклинал ее.

В городе он все время думал, что она делает там, одна на огромной даче среди берез… Вечером, возвращаясь домой, он уже упрекал себя за грубость. Он был неправ. Он старая брюзга и утратил способность удивляться, чувствовать, а она молода, в ней столько непосредственности, столько наивности. В свои двадцать пять она как дитя, истинный ребенок, отчего же он не умиляется этому? Разве он не приучен был ценить выше всего на свете эту детскую непрактичность, искренность, непосредственность, простоту? Простота. Хуже воровства… Интересно, когда эти ценности перестали волновать его? Разве не отталкивают его попрежнему, особенно в молодых женщинах, практицизм и жлобство, рассуждения по низам и убогий, одноклеточный разум? Так что же говорит в нем сейчас? Возраст? Возраст, да, возраст… С каких пор стал он таким педантом, службистом, ревнителем долга? Он, выделявшийся среди друзей своей бесшабашностью? А может, виной наша жизнь – эта наша робость и задавленность, сознание своего бессилия, ограниченности своих прав, наше законопослушание? Она человек из другого, более раскованного мира. Как может он предъявлять к ней те же требования, что к себе?

От автобусной остановки он почти бежал. Отпирая дрожащей рукой калитку, повторял про себя слова раскаяния и жалости… В их комнате было темно. Все! Она уехала… Он увидел, что окна огромного кабинета Саввы Груза пылают огнями. Этого еще не хватало! Старик приехал. Но где же все-таки Ив?

Зенкович постучал в дверь, увидел, как легкая фигурка метнулась из кабинета Груза. Ив. Значит, свет зажгла она.

– Я там читаю, – сказала она, отпирая. – Там красиво.

Он прошел за ней в кабинет, не снимая пальто, увидел книгу на постели Груза: здесь она читала, лежа поверх грязного солдатского одеяла. Зенкович не мог вспомнить, с чего он хотел начать свои извинения. Он начал с попреков. Он же сто раз просил не заходить в чужой кабинет, такое у них было условие с хозяином – каждый у себя. Это чужая комната. А у них есть своя, и разве так трудно…

– Но дом такой огромный, – сказала она, пожимая плечами. – А ты платишь им кучу денег…

Это был бесплодный спор. Зенкович пытался объяснить требования Груза особым психическим складом литератора: вот он, Зенкович, тоже не терпит, чтобы кто-нибудь заходил к нему в кабинет, рылся в его бумагах или книгах…

В конце концов он махнул на все рукой и повел ее ужинать.

…А утром снова шел снег. Ив смотрела в окно, кусала колпачок авторучки и писала открытки, много-много открыток – в Квинсленд, Англию, Францию, ФРГ, Израиль, Турцию, Соединенные Штаты. Зенкович догадывался, о чем она пишет сейчас: снег за окном, пушистые хлопья снега, русские березы в снегу…

Он весь день работал. Пополудни сделал перерыв и наскоро приготовил обед. Он был крайне неопытен, но хотелось есть, а Ив готовить не умела. Она работала в кафе и столовках в разных частях света, однако там она только заваривала чай или мыла посуду, то есть у нее была узкая специализация. Зенкович с грехом пополам научился готовить какую-то дрянь из концентратов.

За обедом она опять смотрела в окно на падающий снег, ей было трудно оторваться от этого зрелища. Потом поблагодарила его за обед и пообещала вымыть посуду. После этого она надолго затихла где-то в утробе огромного пустынного дома. Зенкович наткнулся на нее под вечер, когда встал из-за машинки, вертя в голове нескладную полуанглийскую фразу своего перевода, и отправился в туалет. Он потянул на себя дверь уборной и обмер: Ив меланхолически сидела на унитазе, наблюдая через окно, как в сиреневых сумерках кружатся хлопья снега.

Она повернула к нему голову и сказала ободряюще:

– Ничего. Ничего.

Зенкович отчего-то смутился и рявкнул:

– Что ничего? Запираться надо!

Наутро Ив заявила, что ей тоже необходимо поехать в Москву – купить открытки и конверты.

– Стоит ли таскаться в поездах и автобусах, – возразил Зенкович. – Я тебе привезу сколько угодно. Самых лучших.

Однако Ив настояла на своем, и Зенкович подумал, что при ее незанятости каждое самое мелкое дело приобретает огромную, ни с чем не соразмерную значимость. Он подумал, что сам виноват, не может занять ее, но, вот уж когда все утрясется, он придумает ей какое-нибудь занятие. И в первую очередь она займется русским. Что должно было утрястись, они оба представляли довольно смутно. Еще до переезда на дачу они твердо решили, что поженятся, и посетили помпезное учреждение, называемое московским Дворцом бракосочетаний. Там объяснили, что нужно получить бумажку из далекого Квинсленда, подтверждающую, что девица Ивлин Уайт не состоит у себя на родине в браке и оттого никаких препятствий к их браку нет. Им обещали назначить по получении этой бумаги весьма умеренный срок ожидания, чтобы все наконец свершилось. Так что они отправили запрос в Квинсленд и теперь ждали поступления бумажки от неторопливых (жарища там небось в этом Квинсленде страшная) квинслендских чиновников. Окружающие, качая головой, предупреждали Зенковича, что «никто им этого не позволит». Знатоки даже помнили два или три случая, когда не позволяли, чаще не в открытую, просто оттягивая время, пока одному из брачующихся не придется уезжать восвояси, так

и не дождавшись бракосочетания. Ив и Зенкович решили, что им ничего не остается, как ждать и полагаться на судьбу.

…Итак, сегодня она отправилась с ним в город – за конвертами и открытками. На станции они сели в полупустой вагон и огляделись. Напротив них разместились старушка и молодой солдат в шинели. Ив шепнула Зенковичу, что ей очень нравятся такие вот серые, длинные солдатские пальто. На месте Зенковича она бы непременно стала носить такое. Конечно, буржуи и мещане будут смеяться, но те, кто понимают, должны будут признать, что это и модно, и красиво, и дешево, и современно. Зенкович промолчал. Тогда Ив достала свой дневник и начала заносить туда новые записи, а Зенкович все еще думал, почему он не стал бы носить шинель, будь у него хоть что-нибудь другое. Вернее, он думал над тем, что мог бы ответить Ив, убежденной в гениальной простоте и очевидной выгоде своего предложения. Что служба в армии вовсе не является редкостной привилегией, а после демобилизации ничто не побуждает солдата (во всяком случае, его, Зенковича, не побуждает) к ностальгическим воспоминаниям? Что солдатская форма настолько примелькалась здесь, что предприимчивый пижон, нарядившись в шинель, скорее затеряется, чем выделится в толпе? Что если дешевый шоферский полушубок, столь удобный при русской зиме, не отталкивает даже самых привередливых снобов, не раздобывших западной дубленки, то этой нужды в шинели никто здесь не ощущает?..

Солдат спросил, нет ли у Зенковича спичек. Зенкович ответил, что не курит, и усмехнулся:

– Я за махорку сахар получал.

Солдат серьезно сообщил ему, что нормы довольствия изменились, после чего между ними завязался разговор, состоящий из полуфраз-полунамеков, понять которые мог только посвященный, то есть служилый.

– Первый год?

– Курс молодого.

– Ого!

– Дают просраться. Ничего, я в комендантском…

– Сачок. Увольнения есть…

– Пока редко нас касается…

– Чудачки?

– Навалом…

Зенкович видел, что юный солдатик родом из глухого угла Средней Азии и горд тем, что попал служить в Подмосковье. Что здесь он получит свои первые культурно-сексуальные впечатления, а потом много лет будет рассказывать обо всем этом в родных местах, сожалея изредка, что не остался на сверхсрочную. Что он совершенствует свой русский язык под сильным влиянием старшины-украинца… И еще Зенкович подумал, что никогда не сможет перевести их разговор для Ив. Ее, к счастью, их разговор и не заинтересовал.

В магазине «Искусство» они накупили великое множество открыток. Ив выбирала сама. Зенкович следил за ее выбором, стараясь воздерживаться от комментариев. Больше всего ей нравились реалистические рисунки в стиле русских пятидесятых и сороковых годов. Она выбрала также репродукции картин Серова, посвященных Ленину. Зенкович так привык к этим репродукциям – он не мог представить себе, что они не существовали когда-нибудь. Или что кто-нибудь мог их не знать. Среди них были «Ходоки у Ленина». Ив сказала, что картины эти очень трогательны.

Они расстались в центре, и Зенкович поехал в издательство. Здесь он, как всегда, встретил много знакомых. Когда он рассказывал им об Ив, некоторые пожимали плечами, другие, поздравляя его, говорили, что ему повезло. Одна знакомая сказала в ужасе:

– Зачем вам такая грандиозная форма самоутверждения, Сема, разве ваш развод был невероятней, чем все прочие разводы? Почти все мы разведены…

Зенкович возмутился против этого предположения. Он скорее согласился бы, если б кто-нибудь заподозрил, что тут присутствовал расчет. Тогда очевидная нерасчетливость его действий защитила бы его от такого упрека.

Вечером Ив сама открыла ему дверь. Она ждала, и вид у нее был растерянный, несчастный.

– Меня оштрафовали в поезде, – сказала она, всхлипнув. – На три рубля. Так много…

Зенкович опустился на стул и стал хохотать.

– Что тут смешного?! – крикнула она со слезами обиды на глазах, но он не мог удержаться и продолжал хохотать. Нет, отчего же, это смешно. Он представил себе, как закаленная в боях бригада контролеров изловила опытную безбилетницу из далекого Квинсленда. Они доказали ей, что тут тебе не Лондон и не Бонн, что надо строго блюсти социалистическую законность… Зенкович представил себе, с каким презрением к ее притворному нерусскому лепету они вырвали у нее из зубов баснословную сумму в чужой валюте – целых три рубля… Ее отчаяние казалось ему безмерно смешным: право, жаль, что она не видит в этом ничего смешного. Да, они еще пригрозили, что в следующий раз возьмут десять (как они с ней объяснялись, он так и не понял). Ив спросила, как они ее узнают. Зенкович, с трудом сохраняя серьезность, объяснил, что на нее теперь заведено досье, а фотография нарушительницы разослана по всем дорогам. Потом ему стало жалко ее, и он возместил ей потерю. Однако она еще долго была безутешна и за ужином без всякого интереса ела творог, разбавляя его консервированным болгарским лечо (от ее кулинарных экспериментов у Зенковича мороз продирал по коже). Желудок ее справлялся со всем, и она открывала все более оригинальные гастрономические сочетания.

– Звонила друзьям, – сказала она.

– Ну, что слышно в мире?

– Опять успешный угон самолета, – сообщила она с гордостью.

– Что значит успешный? – спросил он, поперхнувшись. – Опять кого-нибудь ухлопали?

– Они пригрозили убить пассажиров, посадили самолет в Каире и предъявили требования. Убиты две женщины и ребенок, остальные целы… Им обещали выдать арестованных террористов. Полиция осталась с носом. Ты послушай, как они сделали…

Зенкович слушал ее рассеянно. Он думал о том, что убит ребенок и еще какие-то ни в чем не повинные пассажиры. Он думал, что лихим обезьянам, вооруженным скорострельным оружием, все нипочем. Что есть в мире тысячи скучающих, которым милы эти игры. И есть также множество политиков, которые делают на это ставку. Еще он подумал, что русского интеллигента, да еще в его возрасте, уже не может тешить фигура Карла Моора; для него рассудительный и приличный Франц куда милее, чем краснобай и убийца Карл с его обидой на несправедливость судьбы.

Вечером, в постели, чувствуя его молчаливое неодобрение, Ив продолжила рассказ о своих богах и героях. Это были «черные пантеры» и Бобби Сил. Они разъезжали в машине, полной оружия: американские законы разрешали им ездить во всеоружии, просто так, на всякий случай… Полицейская патрульная машина ездила по пятам. Это было ужасно для прогрессивного Бобби и его друзей. Тогда они стали сами гоняться за полицейской машиной. Они ведь были во всеоружии… Каково?

Зенкович гукнул в подушку, издав звук, который при ее известной сговорчивости мог означать, что она его развеселила, что он в таком же восторге, как и она сама. Ив так и восприняла его странный звук, потому что ей не терпелось рассказать еще и про Пэт Херст, наследницу тех самых Херстов, у которых пресса и миллионы. Зенкович все еще думал о бедных полицейских, которым пришлось все дежурство дрожать за жизнь: они-то ведь были просто на работе… Зенкович был воспитан на презрении и ненависти к американской полиции: к этому приучали его лучшие американские кинорежиссеры и писатели. Сейчас, пожалев бедо-

лаг-полицаев, он отдал свое внимание крошке-миллионерше. Ее похитили, старомодный киднеп. Пока папа готовил полмиллиарда или еще сколько-то ихних денег, крошка вступила в шайку, ее похитившую. Ее засняли при ограблении банка. Такова была неотразимость современного бандитизма, вероятно прикрашенного к тому же какой-нибудь ультралевой политической программой. Смешно, что очкастый еврей-догматик Лева Троцкий в таком ходу у всех этих автоматчиков, подумал Зенкович. А может быть, и не смешно. Он все-таки был сторонник всяческих стрельб. Интересно, умел ли он сам стрелять или все это было просто вытеснением комплексов у бедного шлимазла?..

– Ты меня слушаешь? – спросила Ив.

Глаза ее сияли. Проказливая улыбка играла на губах. О чем она говорила? Ну да, об успешном угоне. О Пэт Херст, черт, но отчего же ее так жалко, так жалко их, бедных идиотов?

– Иди сюда, террористка, – сказал Зенкович. – Иди сюда, половая террористка…

* * *

– Не спорить же мне с ней опять про эти гадости террора, – сказал мягкий Зенкович строгому Зенковичу.

– Ну а потом, когда этот аргумент у вас ослабеет и вы станете слишком старый для этих игр, Сема? – строго спросил рассудительный Зенкович.

– Не знаю. Таки не знаю, – сказал мягкий Зенкович. – А вы знаете?

– Нет. Но не мешало бы знать в вашем возрасте…

– У тебя красивый зад, – прошептала Ив. – И красивый член.

– Ну разве она не прелесть, – сказал мягкий Зенкович, становясь твердым.

– Да. Но возможно, что она просто знает, как нужно говорить в этих случаях. Не такая уж большая наука… – пробормотал строгий Зенкович и заметил, что сбивается, теряет дыхание. Он понял, что сейчас не его время.

Глава 3

Приближалось Рождество. Христианский мир был охвачен рождественским ажиотажем. На сей раз эти треволнения, в прежние времена возникавшие далеко от Зенковича и от шестой части света, в которой он существовал, затронули его самым неожиданным и неприятным образом. Ив, изнывавшая без дела, ухватилась за Рождество (это как раз и было настоящее дело) и заявила, что Зенковичу тоже пора об этом подумать – где справлять, как, что приготовить? Письма, поступавшие из Квинсленда, были полны Рождеством: те же где, и как, и что. Неоднократно, с утомительной подробностью были описаны маленькие, милые подарки, которые эти люди дарили кому-то или собирались подарить на Рождество. Зенкович представил себе, как задыхаются почтовые ведомства, доставляя с континента на континент сами эти подарки и многочисленные их описания. А представив, он с сознательностью гражданина примирился с тем фактом, что рождественские поздравления опоздают на месяц-два и придут ко Дню Советской армии (он должен был учесть и трудности, переживаемые в такую пору ведомством перлюстрации, которое, по его соображениям, не могло не существовать).

Ив решила сама испечь для Зенковича первый в ее (не говоря уже о его) жизни рождественский пирог. Зенкович не любил пирогов (он предпочитал им пирожные и пирожки), кроме того, ему вообще не следовало есть мучного, однако он был растроган. Правда, он предвидел здесь для себя многие трудности и не ошибся. Ив потребовала, например, чтобы он купил миндаль, упомянутый в ее поваренной книге как обязательный ингредиент рождественского пирога (он мог, впрочем, оказаться и тортом). Миндаль, как назло, не попадался Зенковичу в его странствиях по магазинам, и тогда Ив стала упрекать Зенковича, что он совсем не думает о Рождестве. Если говорить честно, он и правда почти не думал о Рождестве. В былые годы он еще испытывал некоторый трепет в канун Нового года. Однако с годами и этот его предпраздничный трепет иссяк. Зенкович научился с мужеством и спокойствием встречать календарные даты.

Припоминая вертепы католических костелов и волхвов, приносящих дары, полузабытые строчки из Пастернака, Зенкович будил в себе сейчас интерес к чужому празднику. Ив обучила его двум рождественским гимнам, которые он из-за отсутствия слуха не мог исполнять самостоятельно. Они пели вдвоем, и это выглядело весьма трогательно. Однако ему все еще трудно было примириться с рождественской суетой. Он считал, что вечером 24 декабря они смогут сесть в кресла друг против друга, зажечь свечи, прочувствовать все как следует. Он имел в виду само событие – рождение Иисуса Христа. Ив настаивала, что есть вещи более существенные, чем благочестивое размышление. Пирог. А главное – елка. Он заклинал ее не рубить деревьев в поредевших окрестностях Стародедова. Она строго-настрого запретила ему покупать елку у алкашей на перроне. Она объяснила, что это будет проявлением крайнего фарисейства, потому что алкаши ведь тоже рубят елки в здешних окрестностях. Покупать жиденькие елочки у государства она отказалась по многим причинам. Обойтись полиэтиленовой елкой тоже. Назревал конфликт.

Вернувшись с пустыми руками после беготни за миндалем, Зенкович обнаружил, что «просмотровая зала» полна дыма. Нарушив запрет Груза, Ив затопила камин и убедилась, что он зверски дымит. Посреди залы кособочилась несчастная елка. Ив производила браконьерскую операцию в сумерках и при этом сильно побаивалась милиции: все это заметно отразилось на достоинствах дерева и качестве заготовительных работ.

Зенкович грустно покачал головой и сказал, что он не одобряет подобного зверства. Ив отшвырнула в сторону поленья, крикнула что-то непонятное и выразительное, потом исчезла надолго в недрах обширного грузовского дома.

Огорченный Зенкович лег спать, с чувством безнадежности размышляя о том, как, в сущности, мало английских матерных слов ему удалось усвоить за долгие годы учебы… Он проснулся в середине ночи и заметил, что спит один. Шаркая ночными туфлями (как и пижамы, они подверглись жестоким преследованиям, так как Ив считала, что ходить босиком и натуральней и не в пример гигиеничнее), Зенкович обходил многочисленные комнаты грузовской дачи. Ив он нашел в кабинете самого Груза. Она мирно спала в постели престарелого сценариста, накрывшись его солдатским одеялом. Зенкович был взбешен (позднее, однако слишком поздно, он сообразил, что именно на такой эффект рассчитывала его возлюбленная).

– Как ты можешь? – закричал он. – На чужой постели? На чужих простынях?

– А что такого? – сказала она невинно.

Вне себя от ярости, он выдернул ее из постели.

– Хорошо, – сказала она, стоя совсем голая посреди кабинета. – Хорошо. – И направилась в спальню Грузов. Там еще со времен великого режиссера стояло огромное красного дерева царское ложе с высокой спинкой, на четырех дубовых столбах. Здесь Зенковичу было труднее настигнуть Ив. Борьба на феодальном ложе закончилась неожиданными объятиями. У Зенковича осталось впечатление, что инициатива принадлежала Ив, хотя она и расцарапала ему спину. Впрочем, он не мог бы сейчас сказать наверняка… Они лежали притихшие, и она вдруг стала рассказывать о своем детстве. У ее мамы были очень толстые грубые подштанники, каких давно уже никто не носил в цивилизованном Квинсленде. Ив со старшей сестрой стащили эти подштанники и за два пенса с рыла тайком показывали их одноклассникам. Зенкович постарался грубоватой шуткой отогнать ужас, в который поверг его отчего-то невинный этот рассказ.

– Больше показать было нечего? – спросил Зенкович.

– Было… – Ив хихикнула. – Я в первом классе была – одни мальчик попросил меня показать пипиську. За это он обещал мне отдать белого мышонка.

– Не обманул? – грустно спросил Зенкович.

– Нет, не обманул. Только мышонок у меня убежал… Так жалко…

– Хорошо хоть пиписька осталась, – пробурчал Зенкович, засыпая.

А утром Ив заявила, что без рождественского пирога все-таки невозможно, а пирог этот нельзя печь без миндаля, раз миндаль упомянут в поваренной книге, так что она сама отправится в Москву на поиски миндаля. Зенкович большими буквами написал ей на бумажке – «миндаль», после чего Ив отправилась в самостоятельное путешествие.

Зенкович остался один в доме. Он попытался работать и убедился, что вчерашний скандал выбил его из колеи. Он бесцельно бродил по огромному дому, пытаясь представить себе, чем занимается здесь Ив целыми днями, пока он пропадает в городе. О чем она думает? Что она там пишет? И пишет, и пишет… Вот в этом кресле сидит она каждый вечер, когда он возвращается из города, – пишет письма и открытки или корябает в большой розовой книге, прошитой проволокой. Зенкович рассеянно взглянул на кресло и увидел вдруг эту розовую книгу. Она торчала из-под наваленной в беспорядке одежды, и Зенкович подумал, что, вероятно, Ив, убегая, в спешке запрятала ее под одежду, а он эту одежду сдвинул… Зенковичем овладело непреодолимое желание хоть одним глазком заглянуть в эту заветную книгу, с которой она расстается так редко. Просто подглядеть наугад, хоть два слова…

Он открыл книгу и обмер. Звучное английское слово, вполне соответствующее не менее звучному, а может, и более хлесткому русскому слову, обозначающему женский орган, извечное средоточие греха и срама, было начертано трижды посреди страницы – «кротч», «кротч», «кротч». Вероятно, английское слово звучало менее непристойно, чем русское. От частого употребления в книгах, на сцене и на экране самые подзаборные английские слова мало-помалу утратили свою элементарную непристойность, однако самый факт этого писания, самая картина повергла Зенковича в ступор: он представил себе, как она сидит целый вечер, мечтательно

обратив взгляд к темному окну, как она грызет авторучку и время от времени, склонившись над розовой книгой, выводит в ней – «кротч», «кротч», «кротч».

Оправившись от изумления, Зенкович стал лихорадочно подыскивать объяснение странному тексту. Нет, нет, прежде всего он должен напрочь отказаться от этой русской особенности восприятия. По-английски это почти что и не было непристойностью. Это было точное, конкретное и вполне дозволенное обозначение анатомического центра ее земных наслаждений: именно так обозначали его сегодня писатели, пишущие по-английски, все писатели, не только Генри Миллер или какие-нибудь там битники. И все же… Что могло означать это упрямое повторение?

Зенкович стал возбужденно и лихорадочно листать заветную книгу, бормоча при этом: «Да, да, миленький, джентльмены не листают чужих записей, но, радость моя, часто ли джентльмены встречают этакое и попадают в подобную ситуацию?»

Это было поразительное чтение. Зенковичу не сразу удалось установить связь имен и событий, описанные ею переживания и мужчин-героев… Он понял только, что переживания эти были чисто сексуального порядка. Забвение страсти… Механика акта. А потом – тоска по возлюбленному. Зенковичу не везде удавалось понять, по какому из возлюбленных. Зато описания того, как его невеста млела, таяла, изнывала от желания или умирала в оргазме, были не лишены выразительности. Боль пронзала ее организм, рвала на части ее бедное влагалище (это приносило новое ощущение и потому заслуживало отдельной записи). Наиболее памятные оргии тела были описаны ею подробно и многословно. Зенкович вынужден был признать, что все эти изнуренные, осунувшиеся лица, все эти ошалелые от страсти глаза, плывущие над ней в тумане, произвели на него некоторое, довольно макабричное, впрочем, впечатление.

Мысль, которая мучила его при этом, была прежде всего о том, зачем все это было написано, что это могло означать. Попытка остановить ускользающее наслаждение? Опыт литературного подражания? Нежелание потерять для высокой беллетристики свой собственный богатый, отчасти, вероятно, для этого и добываемый сексуальный опыт?

Зенкович обнаружил записи, которые касались его персоны, и с разочарованием отметил, что записей этих не так много. Однажды он причинил ей не изведанную еще боль, войдя сзади (а следовательно, внес разнообразие в их половую жизнь, обогатил ее опыт). Он имеет обыкновение гладить ее ноги, когда она переступает через него, ложась к стене. Как-то вечером он печально сказал ей, что он уже старик, и она отметила в дневнике правдивость этого замечания, его щемящую искренность (так тебе и надо, осел, в твоем возрасте уже не следует кокетничать возрастом). В среду он нежно погладил ее пальцем… А вот пятница – он совсем забыл погладить ее пальцем, лихорадочно сорвал с нее одежду… Она часто писала о своей нежной и печальной красоте: что будет она делать, когда увянет ее лилейная шея…

Зенкович захлопнул книгу и тут же опять раскрыл ее, пытаясь снова отыскать особенно поразившие его места: и это – когда лицо его исказилось от страсти, и то – как семя текло по ее ногам, по животу, а бедная ее «кротч», пронзаемая тысячью игл… О Боже!

Здесь было много описаний того, что опытные ораторы называют «текущим моментом». Вот она сидит в кресле, а снег падает за высокими стрельчатыми окнами дачи. Она в поезде, и странный мужик напротив нее ковыряет в ухе… Еще один, в метро, – пожирает ее глазами…

Зенкович запихнул розовую книгу под разбросанное тряпье (он столько раз подбирал эти прозрачные штанишки на обеденном столе, в коридоре, в кухне, хорошо хоть они обрели наконец место в комнате), вышел в «просмотровую залу», присел у холодного камина и закурил. Подумал, что он, в сущности, все время ждал каких-либо открытий в этом духе: слишком уж велика была неизвестность, слишком глубоко его непонимание. И все же он не угадывал именно этого – потока эротики, странной сосредоточенности на жизни одного-единственного, такого милого, но все же вполне скромного на вид органа ее тела. Он признался себе, что ожи-

дал более страшных разоблачений из ее прошлой жизни. Он не мог бы сказать, чего именно он ждал. Там в Англии она могла, например, состоять в шайке грабителей или в клубе наркоманов.

Что означают, однако, ее записи? Без сомнения, здесь налицо литературный зуд. Генри Миллер и его последователи раскрепостили слово и описание. Конечно, английские эквиваленты русского «е..ть» или «п..да» больше не могли шокировать английского читателя, однако в умелых сочетаниях еще могли его щекотать. Ныне прямота выражения ушла в личную переписку читающей публики. При умелом употреблении эти слова стали давать пишущим то же ощущение мастерства, какое в прежние времена, вероятно, давали удачные каламбуры, цитаты, описания природы или словесные портреты…

Зенкович со смесью облегчения и досады подумал, что записи эти совсем немного рассказали ему о подлинной Ив. Ну да, он знает теперь, над чем она бьется, когда грызет ручку долгими вечерами. Знает о ее отношениях с тем «другим», у которого пятиэтажный дом, и с тем, который дал ей работу, и еще с тем, который подарил фотокамеру. Но он и раньше догадывался о специфике мужской благотворительности по отношению к молодой и хорошенькой женщине. Здешний немудреный опыт подсказывал ему эти догадки. Он знает теперь, о чем она думает, сидя в поезде или в компании его друзей… Однако он не знает по-прежнему, что есть Ив, кто это прелестное, синеглазое чудище из далекого, странного мира. Да, результат умопомрачительного чтения, кажется, невелик. Все это не имеет значения. Ну а что имеет значение? Зенкович ощутил, что вступает на странную территорию, где реальные факты теряют вес и цену. Может, именно об этом она говорила в тот вечер, настаивая, к раздражению его друзей, на том, что русские прочнее стоят на земле, чем интеллигенты Запада… Тьфу, при чем тут Запад? И при чем тут интеллигенты? И при чем тут земля?

Зенкович не заметил, как зала погрузилась в сумрак. Раздался нетерпеливый стук по оконному стеклу. Вернулась Ив. Она не достала миндаля. Теперь он, Зенкович, должен обязательно достать кардамон. Об этом сказала ей по телефону подруга из Квинсленда. Да, вот: назавтра они приглашены в гости к этой подруге. Будет настоящий квинслендский барашек, чудо из чудес.

Пока, в предвкушении завтрашнего барашка, Зенкович сварил для нее манную кашу, экзотическое русское блюдо, которое она опять ела с большим удовольствием и похваливала.

После каши они принялись за труд любви, и крепкий сон вознаградил Зенковича за его усердие.

Утром Зенкович приготовил на завтрак яичницу, однако Ив, понюхав ее и поковыряв пальцем, сказала, что такую яичницу не ест. Затем она неторопливо обнюхала все кастрюльки и тарелки с едой и сказала, что этого вот она не терпит, того не любит, а вот это уже, вероятно, протухло. Зенкович объяснил, что так не принято делать у них, в Старом Свете: хочешь – ешь, не хочешь – не ешь, зачем же тыкать во все пальцем и хулить.

– Кроме того! – сказал он, раздражаясь все больше. – Ты могла бы и сама что-нибудь приготовить. Или хотя бы подать на стол…

После завтрака он долго не мог сосредоточиться на переводе – думал о ней. В чем дело? Отчего же она сидит вот так без дела… Вероятно, это его вина, рядом с ним всякая женщина становится бездельницей, садится ему на шею, как бывшая жена… А вдруг… Ему пришла мысль, что, может быть, он просто уснул вчера до срока и теперь она вымещает на нем свое неукрощенное беспокойство. Это было очень здравое, вполне реалистическое соображение. Однако оно его не утешило.

Вечером они отправились к квинслендским друзьям Ив. Так Зенкович в первый раз за свою жизнь вступил на запретную территорию, где проживали не наши, заграничные люди, более того – дипломаты. Зенкович не сомневался, что в стены и в мебель этой не по-нашему роскошной квартиры вмонтированы самые новейшие и самые чуткие микрофоны. Это было лишь одной из десятка причин, мешавших ему чувствовать себя здесь хорошо. Правда, время

от времени его посещала веселая мысль, что микрофоны, конечно, неисправны, а ремонтники сачкуют, зная, что будет не с кого получить рубль за ремонт.

Дженни, подруга Ив, жена видного посольского чиновника, была длинноногая, симпатичная, широколицая, держалась с шикарной простотой и доброжелательностью. Сам дипломат был образцом благородства и хороших манер. В целом же делать у них Зенковичу было совершенно нечего.

Что касается Ив, то она с университетских лет дружила с Дженни и всегда считала себя при этом более яркой, более талантливой, более красивой и непредсказуемой.

А между тем именно Дженни была на сегодняшний день замужняя дама и хозяйка роскошного дома, а также благодетельница Ив. В этих тяжких условиях Ив должна была сохранять и достоинство, и превосходство, и дружбу. Список благодеяний Дженни был бесконечен, так что первой задачей для Ив было сбросить с плеч тягостное чувство благодарности, стать неблагодарной. Зенкович с ужасом отметил, что это не составило для нее труда. За что, собственно, быть им благодарными, этим серым, нудным людям, для которых ее, Ив, дружба – награда? Эти люди богаты, так что жертвы для них ничего не значат. Кроме того, им нечего делать. А кроме того, им нужно же, помогая кому-нибудь, облегчать свою совесть богачей. Зенкович, впрочем, не заметил, чтобы люди эти мучились угрызениями совести или ощущали так остро свой долг богачей по отношению к бедной Ив. Более того, Зенковичу показалось, что рассуждения Ив – очень удобное мировоззрение для хиппи-путешественницы: переночевала у одних, поела у других, переоделась в новое платье у третьего и двинулась дальше, исполненная трогательной неблагодарности. А что такое благодарность вообще? Неизвестно. Так зачем же отягчать себе душу этим никчемушным, чаще всего так и нереализуемым смутным побуждением, столь характерным для этих унылых русских, щепетильных евреев и вовсе уж помешанных на благодарности русских евреев?

Квинслендский барашек оказался вполне съедобным, однако гастрономические ощущения никак не компенсировали Зенковичу все возрастающего чувства неловкости. В начале вечера хозяева затеяли с Ив спор о свободе воли, и Зенкович был немало удивлен, что они с такой привычной легкостью оперируют терминами, на которые он с его врожденной нелюбовью к абстракциям никогда не решился бы. Потом он утешил себя мыслью о том, что, окажись здесь кто-нибудь из его соучеников по университету, они могли бы лихо поспорить о надстройке и базисе, удивив терминологией этих великовозрастных детей. Главное было бы удержаться при этом от смеха. Что ж, у этих людей, которые спорили сейчас с таким серьезным видом, была другая школа, метафизическая… Зенкович подумал, что спор о надстройке и базисе произвел бы на них, вероятно, немалое впечатление – как-никак это были высоты современной левой мысли, а не быть левыми в их возрасте и положении неудобно. Запивая барашка сухим вином, Зенкович вполуха слушал спор, перекатывал во рту насмешливые фразы и оставлял их про себя – он не успевал приготовить их вовремя. А потом хозяйка вдруг обратилась к Зенковичу с вопросом, от которого барашек застрял у него в горле. Взглянув на него прекрасными, слегка раскосыми глазами, она спросила, не думает ли он, Зенкович, что его страна еще очень далека от коммунизма. Честно говоря, последние лет пятнадцать подобные размышления не приходили Зенковичу в голову. Он стал лихорадочно рыться в памяти, вспоминая, что же он думал об этом раньше, лет пятнадцать назад, но и там всплывали только фразы и лозунги. Один из них, огромный, аршинными буквами, стоял на горе в таджикском городке Нуреке. Он торжественно заявлял, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме. Второй был связан в его памяти со множеством пейзажей. Он лаконично утверждал, что победа коммунизма неизбежна. Или неотвратима. Зенкович задумался, с какого лозунга ему лучше начать и нельзя ли вообще избежать дискуссии. Не дождавшись ответа, хозяйка с жаром сказала, что, по ее мнению, Китай более последовательно идет к коммунизму и достигнет его раньше. Зенковичу всегда казалось, что ему не жалко Китая. Его дело – жалеть Россию. Однако его покоробили

спекуляции красивой дамы из сытенького Квинсленда. Зенковичу представилось огромное, почему-то желтое, будто на карте, пространство, населенное полуголодными и запуганными людьми, отданными на милость верхушке, где происходит тайная и беспощадная борьба за власть.

– Участь Китая представляется мне ужасной… – сказал Зенкович серьезно.

– Хуже, чем ваша собственная? – не без ехидства спросила красивая Дженни.

Зенкович с тоской взглянул на толстенный дубовый стол, куда, по его расчетам, могло быть вмонтировано не меньше двух десятков микрофонов. Вспомнил выступление старого Бернарда Шоу в нью-йоркской «Метрополитен-опера». Старик сказал им тогда, что испытывает на этой сцене сильное искушение запеть. Зенковичу тоже захотелось спеть что-нибудь безобидное или просто забиться под стол. Между тем Дженни перешла в наступление. Она сказала, что Зенкович распропагандирован, индоктринирован и находится в сетях советской пропаганды. («Вот сейчас-то у них, как назло, испортится микрофон», – с тоской думал Зенкович.) Что ему преподносят здесь выдумки о Китае. Она требовала, чтобы он немедленно объяснил, откуда это он знает, что в Китае все так ужасно. И с чего он взял, что можно верить советским источникам на этот счет? Зенкович понял, что положение его безнадежно. Ну как он объяснит этим серьезничающим детям, что он знает, испытал все это или почти все? Что он пережил этот Китай в своем сердце. Что еще носит его неизжитым в печенке. Как он объяснит им, что он не может, не хочет заливаться соловьем перед их микрофонами? Что ему неинтересен ликбез? Что ему тошно заниматься бесполезным делом их перевоспитания – пусть этим займутся китайцы? Что ему вообще скучны эти политические распри и даже барашек не дает им права…

Зенкович отодвинул барашка и сказал, что читает иногда журналы, издаваемые в Китае, и что эти журналы многое говорят его чувствительному сердцу. Вот и все, пожалуй....

Здесь на помощь ему неожиданно пришла Ив. Она с тыла совершила налет на лживую буржуазную демократию и западный образ жизни, изобличила неравенство, вскрыла язвы, вступилась за неимущих… Все вместе было чудовищной пародией на памятные Зенковичу институтские семинары по марксизму и политэкономии, особенно такие, на которые все пришли неподготовленными и теперь говорят что попало, желая дотянуть до звонка. Муж Дженни доблестно сражался, отстаивая западную демократию, всеобщее избирательное право, свободу печати и высокий жизненный уровень современного квинслендца. Его рассуждения были безупречными и смехотворными. Тем не менее он быстро расквитался с Ив и, нанося последний удар, темпераментно спросил, во что же она верит, если не верит в бесплатное здравоохранение, высокие заработки ее соотечественников, в их демократические свободы?

– В синее небо, – сказала Ив нежно и мелодично. – В красное солнце.

«Так тебе и надо, дурак, – подумал Зенкович. – Не будешь спорить с женщинами».

Он погладил под столом ее коленку, отметив при этом, что колготки у нее рваные.

Западные друзья провожали их до дверей, приглашали заходить почаще, и Зенкович кивал обреченно, разглядывая стены и мебель, совершенно ненадежные на предмет установки в них звукозаписывающей аппаратуры; абсурд и безнадежность были во всем сегодняшнем мероприятии, в ужине, в спорах, в новом приглашении… Господи, зачем это все мне? И что дальше?

Но потом Ив нежно обняла его в лифте, дверь лифта открылась вдруг, они вышли на каком-то этаже, непонятно каком, и застыли перед стеклянной стеной на площадке лестницы, может, на той же самой, что и прошлой весной; рука ее проворно и ловко скользнула к нему в брюки, они забыли на миг о своем правовом и географическом положении…

– Ив! – прошептал он. – Ив… Дуреха… Международница…

– Сьоми… Поближе, Сьоми… Сюда…

Глава 4

Они прожили больше месяца на даче Груза, а подтверждение ее свободы из Квинсленда все не приходило. Муж Дженни солидно объяснил, что чиновники всех ведомств не работают под Рождество и что они не сразу раскачаются после Рождества.

Зенкович пытался ввести их жизнь в колею. В те дни, когда ему не нужно было ехать в город, он работал с утра, потом готовил обед, потом занимался с Ив русским языком. Занятие это становилось все более мучительным и бесперспективным. В одноязычном Квинсленде не было, вероятно, склонности к изучению иностранных языков и нужды в этом. Объехав полсвета, Ив не запомнила и дюжины слов на каком-либо иноземном языке. Вероятно, языки ей не давались. Кроме того, она оказалась неприспособленной к регулярным занятиям. Оправдывая свою лень, она изобретала множество хитрых отговорок и в эти мгновения была еще более, чем всегда, похожа на ребенка. Она заявляла, что Зенкович плохой учитель, что он не смог заинтересовать ее, что он не смог объяснить, «что означает для него самого русский язык», не смог дать ей в двух словах «сущность языка».

Зенковича охватывало чувство безнадежности. Все более безнадежным казался ему и его собственный английский язык, которым он всю жизнь гордился. Ведь после стольких лет учебы он так и не понимал быстрой английской речи. И ничего не понимал, если собеседники не принимали его в расчет или старались, чтобы он понял как можно меньше. Собственная его английская речь, как он убедился, не была приспособлена для выражения нюансов чувства и мысли. Зенкович с раздражением думал, что по-английски он говорит не только грубее и примитивнее, но еще и гораздо глупее, прямолинейнее, догматичнее, чем по-русски. Исчезали оттенки юмора, ирония, самоирония, спасительная дистанция между человеком и словом. Он был другим человеком по-английски и переживал унижение из-за своего бессилия, неспособности пробиться через барьер чужой языковой стихии.

В конце концов их занятия с Ив тоже зашли в тупик, и Зенкович пообещал ей найти «настоящего» учителя. Пока же она делила время между чтением Достоевского, прогулками по лесу и писанием писем. Последнее занимало в ее жизни столь значительное место, что Зенкович поневоле задумывался – что же оно значит, это эпистолярное пристрастие, это скрупулезное описание мельчайших событий и пейзажей, собственного состояния и даже самого процесса писания писем (весьма внушительная часть любого ее послания – «давно вам не писала», «пишу наспех», «пишу, сидя в кресле, поджав колени», «сегодня уже написала туда-то»…). Зенкович пришел к выводу, что писание писем входит в систему ее экзистенциального мироощущения. Чтобы лучше осознать, прочувствовать данный миг бытия, она должна непременно зарегистрировать его письменно. Всякий факт ее жизни – будь то сексуальное переживание или посещение музея – словно бы терял для нее всякую ценность, если не запечатлеть его в письме или открытке. Зенкович подумал, что путешествия ее по свету выглядят примерно так: переехала на новое место, осмотрелась, отослала открытку с местными видами – и можно ехать дальше.

Однажды, распечатав очередную пачку писем из дому, Ив дала Зенковичу два или три письма почитать. Первое было от ее «бедной, обнищавшей матери» (так Ив любила ее называть). Здесь было перечисление отосланных в прошлом и позапрошлом месяце маленьких подарков, сюсюкающее описание садика, бесконечные жалобы на нужду: вот, на прошлой неделе у нее кто-то одолжил на два дня фургон, а ездить на маленькой машине почему-то было неудобно, так что старушка была целых два дня почти что безлошадной («карлис», Боже ее сохрани). К тому же из-за ужасных расходов ей пришлось до двух раз в неделю сократить визиты наемного садовника (все те же тюльпанчики в саду). Вторым было письмо закадычной подруги Ив, Зенкович читал его с неослабным обалдением. Подруга рассказывала, что вчера

они с Джеком были в гостях, а когда вернулись, начали под деревом «делать любовь» (этих людей нельзя было обвинить в ничегонеделании). Успешно завершив акт, они с Джеком взяли немножко спермы и стали рассматривать ее под микроскопом. Ох, это было волнующее зрелище! Маленькие проходимцы суетились, скакали, сталкивались лбами, боролись… Зрелище было настолько вдохновляющим, что подружке Ив захотелось немедленно завести ребенка…

Вскоре после Рождества невестой Зенковича овладело мучительное беспокойство. «А что, если эта бумажка из Квинсленда не придет вообще?» – сказала она однажды. Что, если ей придется уехать из России навсегда? А она еще так мало видела здесь, почти совсем ничего не видела… Она завела будильник, поставила его на шесть утра и, встав затемно, стала собираться в дальнюю дорогу. Она сообщила Зенковичу, что поедет далеко-далеко. Он сквозь сон пожелал ей доброго пути, но потом вдруг забеспокоился, и сон покинул его. Он встал и предупредил ее, чтобы она не заезжала дальше, чем положено иностранцам (черт его знает, сколько им положено?). Он специально предупредил ее, чтоб она не вылезала на станции Дрюбино, там какой-то объект, про который им не положено знать (черт его знает, про что им можно знать?). После ее стремительного ухода Зенкович вернулся в постель и попытался успокоить себя. В конце концов, почему это он еще должен осуществлять охранительные функции? Почему? Пусть кто-то этим занимается, кому положено. Сам он будет держаться в рамках… Вот и все. Однако он уже взял на себя эти функции и выполняет их весьма рьяно. Что же им движет при этом? Как что? Желание сохранить хотя бы то немногое… Что немногое? О Боже, чего там объяснять – им движет страх. А страх не нуждается в обоснованиях. И что значит – он будет держаться в рамках? Он наверняка уже вышел за рамки. И кто знает – каковы эти рамки? Сколь широки они? Когда-то было точно известно, что ничего нельзя. Сказано четко и ясно. Удивительно ли, что столько пуганых с ностальгией вспоминают сегодня то четкое, ясное время универсальной запретности…

Зенкович понял, что не сможет больше уснуть. Он встал, оделся. Работа не клеилась. Он бродил по дому, осаждаемый страхами. «Что она может натворить?» – в ужасе спрашивал он себя. И отвечал себе, что она может натворить что угодно. В этом мире, кроме Него и кроме Нее, которым так трудно договориться, были еще неведомые Они, про которых принято было говорить с опасением и обреченностью. «Они не разрешат», «Им все известно». Зенкович всегда старался держаться подальше от Них, вести себя так, словно Ему нет до Них дела. Но он, конечно, не хотел, чтобы Им было до Него хоть какое-нибудь дело. Нынешняя ситуация была неприятна тем, что могла разрушить эту его мифическую, им самим придуманную независимость.

Темнело… Зенкович зажег свет. Ему не работалось. Он бродил по даче, пытался читать. Потом вдруг начал перебирать бумаги на ее столе, словно они могли дать ему ответ – где она сейчас и что делает. Что еще она придумает в будущем? Разрозненные листки с уроками русского языка, упражнения, изобилующие ошибками (число этих ошибок не убывает, а растет день ото дня – полная безнадега), обрывок какого-то ее письма, вероятно, черновик (она ведь переписывает свои письма по многу раз). Он пробежал глазами начало письма и обмер: «Мы живем теперь на даче, где нас с Семи не видит КГБ. Мы с Семи полагаем, что нам удалось очень ловко их провести». Боже! Боже! И эту белиберду она сообщает старушке матери, которой эта информация, конечно, совершенно необходима. Она обклеивает конверты красивыми марками и сует их в почтовый ящик. А потом, о Боже, они передвигаются медленней, чем в XVII веке, эти письма, медленней, чем при Андрее Виниусе и ямской гоньбе… Для чего-то же их там маринуют… А что значит «мы с Семи»? Семи, голубушка, еще с детства приучен думать, что Их не проведешь, что они знают все… Семи вырос в кафкианском мире вечной вины перед Ними, в оруэлловском кошмаре озвученных кустиков, и если он под старость предпринял такую вот эскападу, то это вовсе не значит, что он хотел бы, чтобы ты семь раз в неделю бросала в ящик такие вот фантастические отчеты о подрывной деятельности Семи…

Интересно, сколько таких писем она успела написать и отправить?

Зенкович стал лихорадочно рыться в ворохе бумаг и, на счастье – ничего себе счастье! – нашел черновик еще одного ее письма к матери. Здесь ничего не было про него. Зато Зенкович с ужасом обнаружил, что любознательная старушка из квинслендской глуши могла почерпнуть из этого письма множество сведений о его друзьях. Здесь сообщалось, например, что «инженер Гриша не согласен с правительством по поводу низкой зарплаты, которую ему платят». Боже мой, бедный Гриша, если бы он прочел… И если бы Они прочли… Что значит «если» – конечно же Они прочли! Строго говоря, тут нет ничего особенного. Можно и так догадаться, что Грише не нравится маленькая зарплата, а нравится чуток побольше. Однако зачем она нужна Грише, такая реклама? Зенкович, конечно, в ответе за это перед Гришей и другими – это он привел ее к друзьям.

Ну а он сам, каково ему?

Он бродил по комнатам, то приходя в ярость, то теряя силы от безнадежности и бессилия сделать что-либо… Как он может ей объяснить? Да и потом – унизительно это все объяснять…

Она вернулась поздно, ее синие близорукие глаза светились торжеством. Все в порядке. Она ехала долго-долго, среди белых полей. Потом она познакомилась в поезде с русской девушкой, учительницей по имени Фира, и та пригласила ее в гости. Вот адрес. Зенкович взял в руки бумажку и взвыл от ярости: это была, конечно, станция Дрюбино, широко известный, сугубо секретный и как бы никому не известный объект.

– Ты не поедешь! – закричал он.

Он знал, что проиграет сразу, и она действительно тут же встала на дыбы.

– Поеду, – сказала она. – Все равно я поеду…

Потом он сказал ей о письмах. Что так нельзя. Он убеждал ее, умолял, и в конце концов она согласилась пойти на компромисс. Она сказала, что пошлет свои новые письма дипломатической почтой, в «дипломатическом мешке» – уж там-то наверняка никто не прочтет. Решение это придало ей новую энергию. Назавтра с утра она написала целую кучу писем, запихнула в конверт и сказала, что перешлет их по почте в квинслендское посольство, откуда они полетят за океан «в мешке».

– Я сопроводила их запиской к моему знакомому в посольстве.

У него не хватило сил на продолжение дискуссии. Он только попросил показать ему сопроводительную записку.

– Не покажу.

– Покажи.

– Хорошо. Читай!

Зенкович, уже разворачивая записку, начал злиться на себя: на черта ему эта записка? Но там было сказано следующее:

«Дорогой Джонни! Семи говорит, что КГБ читает мои письма…»

– Ты что, с ума сошла? Я что, говорил тебе, что КГБ читает твои письма? – заметался Зенкович. – Я говорил, что твоей маме не нужно знать, какие у Гриши разногласия… Вообще, у Гриши нет ни с кем никаких разногласий. Гриша рот боится открыть. И какого черта твоей маме…

– Ага! – воскликнула она с торжеством. – Ага! Ты прочитал мое письмо к маме! Ты сам как КГБ. Ты хуже КГБ!

«Да, я хуже, – уныло подумал про себя Зенкович. – Я не разрешаю ей писать то, что не разрешили бы Они, если бы она брала у Них разрешение… Но Они могли бы и не заметить, проявить небрежность, а я… Боже, да пусть она пишет все, что ей вздумается…»

Это решение отчего-то успокоило его на время. Он пошел на кухню готовить ужин. Однако там, оставшись в одиночестве, Зенкович снова пришел в возбужденное состояние. Да

неужели она никогда ничему не научится? Отчего она должна ставить под удар его друзей, его самого? Он отговаривал ее, пока она не уснула.

Наутро Ив все-таки удрала в Дрюбино к русской девушке по имени Фира. Она наотрез отказалась показать Зенковичу адрес и фамилию этой девушки. «Ты просто ревнуешь», – сказала она, напомнив Зенковичу, что вдобавок ко всем прочим страхам он должен еще и ревновать. Он должен, просто вынужден ревновать, ведь она молода, красива, экзотическая, заокеанская птичка в снежной стране, а новая любовь – это ведь так естественно и так просто… Но Зенкович на сей раз не ревновал, еще не ревновал. Просто он был уверен, что эта странная учительница из Дрюбина носила имя Елизавет Воробей… Он пережил мучительный день ожидания, один в огромной пустынной даче со своими страхами и мыслями о сегодняшнем и, главное, – о завтрашнем дне: что будет, что будет дальше, как я смогу…

Ив вернулась не поздно. Вместе с ней приехала девушка Фира, учительница музыки из Дрюбина. Фира разговорилась с Ив в электричке. Она была счастлива, что ей удалось сохранить остатки своего школьного английского («Учительница всегда хвалила меня в средней школе…»). В благодарность Фира решила научить заморскую девушку готовить русские пельмени и украинский борщ, а также квасить капусту. Фира села за рояль в «просмотровом зале» и стала играть русскую песню «Катюша» («Катюша» – это самая знаменитая песня на свете, ты должна знать ее, Ив. Отчего же она тебе не нравится, если это лучшая русская песня? Ну повторяй за мной: «И бойцу на дальнем пограничье…»). Нет, эта Фира была, пожалуй, не Елизавет Воробей. «А раз так, она должна будет испугаться», – подумал Зенкович: он не мог простить ей этого дня треволнений. Зенкович спросил у Фиры, можно ли иностранцам в одиночку посещать Дрюбино. Она стушевалась и вскоре стала прощаться. Зенкович принял седуксен и лег спать.

Проснулся он среди ночи, потому что Ив дергала его за причинное место.

– Что же это такое? – заговорила она плачущим голосом, убедившись, что он проснулся. – Сам говорил, что любишь меня, а сам уснул и не хочешь заниматься любовью… У меня в жизни такого не было… Сам говорил, что любишь…

Зенкович хотел пошутить. На мгновение ему показалось, что нечто весьма остроумное приходит в голову, однако сон не отступил, и это нечто остроумное завязло в трясине сна. Зенкович закрыл глаза и еще некоторое время слышал, как негодовала Ив. В конце концов стало тихо. Она забрала одеяло и ушла куда-то.

«Пошла небось в кабинет Груза… – сонно подумал Зенкович. Но даже мысль об этом нарушении правил не смогла разбудить его окончательно. – А может, и нет… Может, она просто займется онанизмом… – Он припомнил фразу из ее недавнего письма к Тому: "Мастурбирую перед твоей фотографией…" – Мастурбирую так мастурбирую… В кабинете так в кабинете… Эти люди умеют любить», – сонно подумал Зенкович. Он сладко потянулся, свернулся калачиком. Седуксен избавил его от тревог.

Наутро Зенкович постарался возместить Ив недоданное вчера и даже отчасти преуспел в этом. Однако он видел, что она не простила ему вчерашнего. Позднее, лежа почти до полудня в усталой дреме, Зенкович думал о том, что она, вероятно, права: никто не сможет возместить нам потерь ушедшего дня, и нечего откладывать на завтра, уповать на будущее – у будущего свои задачи и свои радости…

К полудню у Зенковича заболело сердце. Он имел неосторожность рассказать об этом Ив. Она проявила крайнюю враждебность к этой новой, совершенно непростительной, с ее точки зрения, демонстрации физической слабости. Ив передала ему то, что ей не раз говорили друзья из квинслендского посольства: отличительной и наиболее отвратительной чертой русских является ипохондрия. Одна русская женщина, работавшая в посольстве, позвонила однажды на работу и сказала, что «у нее сердечный приступ». Квинслендский персонал смеется над этим звонком уже полгода, потому что сердечный приступ – это когда человек умирает. Зен-

кович знал, что Ив тотчас напомнит ему и злосчастную историю с придатками, – их бесплодный спор, который тянулся добрых две недели, истощил нравственный потенциал Зенковича и в результате ни к чему не привел. Зенкович предупредил Ив однажды, чтоб она не сидела на снегу. Он заботливо, как подобает будущему мужу, предостерег ее от «женских болезней», то бишь от воспаления придатков. Он не знал, как это будет по-английски, и объяснил как мог, сославшись на печальный опыт своей бывшей жены. В ответ на эту заботу Ив хладнокровно разъяснила ему, что такой болезни, или таких болезней, не существует в природе. Что же касается прежней жены, то она просто морочила его, – вероятно, у нее были аборт или триппер. Дотошный Зенкович привлек на свою сторону столичные медицинские силы для доказательства своей правоты. Это вынудило Ив к внеочередной поездке в город. Вернувшись, она с торжеством объявила ему, что такой болезни действительно не существует. Все ее квинслендские друзья и даже доктор британского посольства, взвесив показания, пришли к выводу, что у русских женщин может случаться нечто подобное из-за антисанитарного состояния некоторых русских уборных. Зенкович опешил. Потом он решил, что они видели грязные станционные сортиры и предположили, что русские садятся в них на толчок голым задом. Вероятно, прогрессивному Квинсленду незнакома была традиционная сельская «поза орла». Но как же английская сырость и холода? Нет, нет, наверняка их женщины тоже… К счастью для Зенковича, Ив не вспомнила сегодня спор о женских придатках.

Однако не всегда ему так везло, как сегодня. Общаясь с Ив ежедневно и будучи почти единственным ее собеседником, Зенкович чувствовал, что он все больше проникается ненавистью к массовой информации и полуобразованию, которые становились для него почему-то специфической западной чертой. В спокойную минуту он понимал, что это скорее признак нашего времени или черта женская, к тому же присущая Ив, однако в пылу спора он видел лишь, как на него надвигается эта чужеродная волна слабоумия, и она казалась ему непохожей на привычное, отечественное слабоумие. Модных предрассудков у нее было множество: чаще всего они касались того, что «вредно» или «полезно» для человека, а также ее представлений о гигиене. Впрочем, иногда они уходили в сферы, далекие от ежедневных потребностей. Ив доказывала благотворность теорий доктора Лэнга о шизофрении, преимущества ночных «родов с улыбкой» или террористических акций, совершаемых различными экстремистскими организациями. Часть этих теорий она, без сомнения, почерпнула во время работы в документальном кинематографе. Политическими воззрениями она была обязана своим лондонским любовникам, и однажды в разгаре спора, чувствуя бессилие всякого опыта и всякой логики перед ее упрямым предубеждением, Зенкович вдруг заорал в ярости:

– Из какого пальца ты все это высосала?! Из какого грязного…

Он остановился вовремя, решив, что для них обоих будет лучше, если он спишет эти идиотские воззрения на счет западного, на худой конец квинслендского повального слабоумия. На счет моды и полуобразования. В своей прежней жизни он легко мирился с женской простотой и необразованностью и не мог понять, отчего так раздражает его сейчас тот факт, что эта маленькая головка нафарширована модными теориями и терминами.

Как-то по дороге со станции она попыталась всучить ему свою сумку с продуктами, вдобавок к двум, которые он уже волок на себе.

– Я устала… – сказала она жалобно, – психологически устала.

Это бессмысленное «сайколоджикалли тайэд», которым она хотела оправдать свою лень, на некоторое время стало для Зенковича символом ее абсурдного полуобразования.

Споры между ними перерастали в ссоры, ссоры в конце концов кончались объятиями, а они возвращали Зенковича к реальности: перед ним была развитая физическая и отсталая умственно девочка. В ее отсталости не было никакой патологии. Вероятно, это было привилегией ее пола, класса, времени, среды, раннего физического развития и еще Бог знает чего. Так или иначе, глупо было состязаться с ней в здравом смысле и образованности, спорить, скан-

далить, приходить в отчаяние. И все же после их примирения на душе у него всякий раз оставался смутный осадок тревоги и недовольства собой. Что будет дальше? Как они уживутся? К чему приведет ее ничегонеделание?

Между тем неторопливая бюрократическая процедура совершалась своим путем. Из Квинсленда пришло подтверждение, что девица Ивлин Уайт в браке не состоит. Зенкович вместе с Ив и своим престарелым отцом (это была непостижимая мера предосторожности со стороны брачных властей) съездили в городской Дворец бракосочетаний и подали там заявление о вступлении в брак. Им определили умеренный срок ожидания и дали приглашение на церемонию бракосочетания, точно назначив день и час, посоветовав, где заказать машину, купить фату и кольца…

– Это все? – удивленно спросил Зенкович.

– Все.

Конечно же он ждал от них всяких хитростей и уловок. Он ждал препятствий. А ему просто сказали прийти в такой-то день и получить свое сокровище навеки. На веки вечные. На муки вечные. На радость и муку. В том, что ему предстоят муки, он уже не сомневался.

Глава 5

Страх перед счастливым будущим, которое он выбрал себе с такой готовностью, перевешивал сейчас в душе Зенковича уже ставшие привычными немногие радости их совместной жизни. Этот страх порождал в нем, а может быть, и в ней постоянное раздражение и готовность биться за свои права. Зенкович вставал по причине бессонницы рано и сразу садился за работу. До полудня, когда просыпалась Ив, он уже успевал прийти в раздраженное состояние. Ив вставала, готовила себе отвратительно выглядевший, убогий завтрак и садилась за письма. Она существовала независимо, обособленно от него, в каком-то другом мире. В то же время (в отличие от его первой жены) она не собиралась предоставить ему полную свободу. Он должен был непременно включать ее во все свои планы. Она желала быть его спутницей в каждой из поездок, во-первых, потому, что у нее нет своих собственных дел, а во-вторых, потому, что она хочет ездить. С одной стороны, это радовало Зенковича: значит, он ей все-таки нужен. С другой стороны, призрак несвободы, с которым Зенкович сражался наяву и во сне всю свою сознательную жизнь, обретал в будущей семейной идиллии весьма реальные очертания. Зенковича несколько пугали и те изменения в его собственном характере, которые произошли или просто были им обнаружены во время совместной жизни с Ив. К примеру, он всегда считал себя неприкаянным бродягой-путешественником. Бродяжничество – это была его радость, его неоспоримая привилегия, выделявшая его среди всех друзей. С пятеркой в кармане он мог бродить по городам и весям, ночуя где попало, питаясь чем попало, преисполненный умиления по поводу красот природы и людской доброты. Он никогда не копил денег, не собирал ни икон, ни монет, ни старинного оружия. Он коллекционировал красоту мира, встречи, состояния… И вот он встретил наконец девочку, которая с таким умением, почти что в мировом масштабе осуществляет эту его жизненную программу. Так отчего же встреча эта не умиляет его? Более того, он испытывает раздражение при виде этих бесцельных странствий, ее безответственности, постоянной жизни за счет чужой доброты, ее неприкаянности и никчемности, вечного ожидания помощи от других людей, расчета на эту помощь… Почему это раздражает его?

Он, который всегда эпатировал друзей своей небрежной неконформностью, при встрече с ней вдруг начинает искать прибежища в надежных и старых ценностях, цепляется за первое, что может спасти его от ее разрушающей неустойчивости, – за работу, конечно, в первую очередь – за работу. В разгар их скандалов или рано утром, когда она еще спит, он в споре, в разладе с самим собой поспешно садится за стол и работает – переводит (все-таки, может, эти переводные книги нужны кому-то), пишет (удача или неудача, любовь или крах, но написанное им останется, может быть, «его найдет далекий мой потомок», найдет в виде книги или рукописи, какая разница, он не знает другой возможности реализовать себя).

Зенкович заметил, что Ив с уважением и с завистью относится к стуку его машинки. Часто ее начинало раздражать, что он так много работает.

– Ты как машина, – говорила она. – Как ты можешь быть настолько педантичен?

Он не отвечал, молча прятался в работу от нараставшего взаимного раздражения.

В то утро, когда ему позвонили из Бюро пропаганды, у них происходила безобразная ссора. Во время завтрака Ив, распахнув халатик, вдруг почесала правой рукой причинное место и сказала с зевком:

– Какой-то зуд у меня…

– Может, смазать? – сказал Зенкович.

– Пожалуй. Где у тебя крем, Семи? В туалете?

Ив вернулась из туалета, растирая на ладонях остатки крема. Потом потянулась к хлебнице.

– Ты руки помыла? – спросил Зенкович, с трудом сдерживая ярость. – Нет?

– Брось ты, – отозвалась Ив весело, – все эти ваши теории. Лучше бы поменьше лекарств пили. Не отравляли бы себя химией. Организм должен сам бороться с болезнями…

– Руки… – сказал Зенкович хрипло, когда она снова потянулась к хлебнице. – Пойди вымой руки.

Но Ив не хотела потакать его предрассудкам. Почему это она должна делать так, как у них тут принято. Это все предрассудки, и она не намерена…

– Вымой руки! – закричал Зенкович. Потом он схватил ее в охапку, отнес в ванную и там насильно вымыл ей руки мылом.

Бросив недопитый чай, он ушел в комнату. Сердце у него ныло. Он был зол на нее, зол на себя, проклинал все на свете. Надо махнуть на все рукой… Но как? На что? Предстояли долгие годы вот такого противоборства. Такой нервотрепки…

– Нет, нет, мне это не по силам, – малодушно повторял Зенкович, сидя за столом и тупо глядя на машинку. – Просто не по силам…

В это время позвонили из Бюро пропаганды. Ему предложили поехать на выступления с группой писателей. Конечно, за счет Союза, и не бесплатно, места там, сами знаете, интересные, соглашайтесь… Зенкович использовал обычно всякую возможность поездить по стране. Правда, выступления перед публикой он никогда не считал достойной тратой времени, однако в поездках этих можно было увидеть что-нибудь интересное, так что некоторая неловкость и неудобство окупались. А сейчас, услышав предложение уехать, испытал вдруг огромное облегчение. Он ведь всю жизнь так всегда поступал – уехать, сбежать от трудностей и неразрешимых проблем: пронесутся мимо тебя и под тобой тысячи километров пути, а потом, когда вернешься, забудешь, над чем ты здесь ломал голову… Уехать!

Зенкович дал согласие поехать и объявил об этом Ив. Он поедет, встряхнется, и, может быть, сон вернется к нему. Они отдохнут друг от друга немножко, обдумают свое поведение: нельзя ведь, чтобы так продолжалось… Ив сказала, что он глубоко ошибается. Она и не подумает оставаться здесь одна. Она поедет с ним. Или уедет в Лондон.

– Езжай куда хочешь, – сказал Зенкович беспечно, и ему стало страшно. Столько раз за последние недели приходил он к мысли, что совместное существование их невозможно, что будущее беспросветно, но сейчас, произнеся эту святотатственную фразу, всерьез испугался. Нет, нет, он ведь хочет ее, любит ее, наконец, ему жаль ее – вот она сидит у камина, свернувшись калачиком в кресле, в огромном пустом «просмотровом зале» грузовской дачи – такая красивая, такая одинокая и никчемная…

– Хорошо, – сказал он. – Я возьму тебя с собой. Только, пожалуйста… Я прошу тебя… Помни, что мы еще не оформили наше… наш… так что, вероятно, мы не имеем права… Точнее, я не имею права… Будем осторожны и благоразумны…

– Сьоми… Сьоми… – нежно прошептала она. А потом вдруг взглянула на него искоса. – А ты не обманешь меня?

Зенкович не сказал в Бюро пропаганды, что он едет не один. Они условились, что, приехав на место, он подыщет Ив частное жилье у друзей и тогда она приедет вслед за ним.

Вечером, купив билеты, он возвращался домой, на дачу. Он предчувствовал новые объяснения и споры. В нижнем вестибюле метро он услышал иностранную речь и обернулся. Необычайно серьезная девочка-гид толковала что-то молодым, упитанным иностранцам, обвешанным фото– и кинокамерами. Скорей всего, это были скандинавы. Они разглядывали мозаику и позолоту на потолке, обменивались замечаниями, до ужаса серьезными или непостижимо веселыми, и Зенкович, не понимая ни их веселья, ни их серьезности, вдруг ощутил острую досаду. На кой черт эти толпы с фотокамерами шляются из одного конца света в другой? О чем они думают? Что они могут понять или почувствовать, глядя на дурацкие мозаики и раззолоченный потолок станции, той самой, которую Зенкович помогал созидать еще в студенческие годы, в порядке общественной нагрузки? В последний раз он разглядывал ее лет пят-

надцать назад. Тогда на потолке, в медальонах, менялись мозаики: популярные физиономии министров заменялись другими, обобщенно-незнакомыми… Это было в краткую эпоху «осознания вины»… Чем представляется ныне этим людям потолочная роскошь ненавистной станции? Вероятно, чем-нибудь вроде ханского дворца в Бахчисарае. И что они думают? Впрочем, какая разница? Почему вообще его, взрослого человека, должно интересовать мнение этих взрослых недорослтков? Что могут они понимать, эти дети, в судьбе его города, в его, Зенковича, судьбе? Эти выкормыши сытой демократии. Эти поклонники автомобильной цивилизации. Эти обожатели Че Гевары и Мао…

Дома Ив заявила ему, что она не будет сидеть здесь и ждать его вызова. Она поедет с ним. Где будет он, там будет она. Зенкович понял, что ему не переспорить ее. Он сказал себе, что в ее аргументации есть последовательность. Что ее привязанность к нему трогательна… На самом деле у него просто не было сил спорить. Он сдался, махнул рукой, и ощущение безнадежности укрепилось в его душе.

Он взял для них билеты в тот же поезд, в котором ехали остальные, но только в другой вагон. Они договорились соблюдать осторожность, так, на всякий случай. Разложив вещи в своем купе, Зенкович оставил Ив и пошел к коллегам предупредить их, что едет в том же поезде. Ему с трудом удалось отмотаться от дружеской попойки и увлекательного спора о гонорарах. Возвращаясь, он увидел Ив в тамбуре. Она оживленно беседовала с грузинским парнишкой, прикрытым огромной кепкой. Парнишка ехал в соседнем купе и, насколько понял Зенкович, вез фрукты на продажу. Их разговор с Ив представлял собой экзотическое мычание на двух подобиях русского языка, прерываемое смехом. «В сущности, это для нее неплохая пара, – подумал Зенкович с досадой. – Во всяком случае, для дорожного приключения. Был ведь у нее в Лондоне какой-то матрос-африканец и какой-то террорист-араб». Зенкович подумал также, что с точки зрения профессиональной он мог бы позавидовать этой ее способности входить в любые группы и слои, принимая все так близко к себе, на себя. Зенкович и сам без особого труда сходился то с санитаркой, то с байкальской рыбачкой, то с райкомовской девой из провинции, но при этом он оставался по-прежнему им далеким. А вот она…

Прыщавый грузинский мальчик смотрел на него испытующе: муж или соперник? Для его кодекса чести и самолюбия это было существенно. Потом расшаркался и открыл им дверь. Это был рыцарь, воспитанный мальчик, поэтому нож он так и не вытащил.

«Интересно, что же она поняла из их разговора? – подумал Зенкович. – Вероятно, то, что мальчик этот хочет спать с ней. Что ж, это немало…»

Мимо них бежали леса, перелески, поляны, заснеженные поселки. Однажды поезд остановился на полустанке. Кругом стыли на холоде могучие ели, сверкали голубые снега… Тепло светились красные окна сторожки, белым столбом поднимался дым из трубы…

– Вот здесь можно жить… – сказала Ив, и Зенкович особенно остро понял ее растерянность, неприкаянность. Можно было жить здесь и жить там, мир был полон красоты и соблазнов, стержень и смысл жизни были утрачены – и вот она мечется по свету, бедная дурочка, тоскующая по ограничению, завидующая нашей бедности…

Старинный северный городок, где Зенковичу предстояло выступать, был прекрасен: торговые ряды XVIII века, купеческие домики на главной улице, серое небо и кресты старинных церквей, словно притянутые к куполам тяжелыми цепями. На сей раз Зенкович не испытал привычного возбуждения, приехав на новое место: на душе его лежал груз заботы. Нужно было найти жилье для Ив, надо было все-таки оговорить с ней кое-какие правила осторожности.

Зенкович нашел жилье для Ив и устроил ее довольно неплохо. Пока их группа обсуждала программу выступлений в местном обкоме, Ив бродила по городу. В первый день она познакомилась с какой-то милой старушкой, знающей язык.

– Это хорошо. Только… городок небольшой, тут все на виду… – начал Зенкович, но не кончил. Что он ей объяснит? Что у нее нет разрешения на поездку? Что местные блюстители

международных связей будут повзводно ходить за ней к концу сегодняшнего дня? Он уж говорил ей об этом. Он скажет еще раз. Что это изменит?

Его план держать ее в стороне от их группы рухнул почти сразу. Она не отпускала его ни на шаг, а он не мог исчезнуть совсем. В группе оказался старый приятель Зенковича, писатель-фантаст. Зенкович решил, что ему можно представить Ив. Это будет компромиссом. Приятель-фантаст немножко знал английский, и присутствие новой блондинки его возбуждало: он-то приготовился к связи со скучной провинциалкой, а тут вдруг – иностранка. «Дурачок, – думал про себя Зенкович, избавленный от необходимости поддерживать беседу. – Эта ведь тоже провинциалка. Она из провинциального Квинсленда. Все женщины в принципе провинциалки. Все люди. Все пролетарии и все нетрудящиеся зарубежных стран. Это мы здесь – в центре умственного процесса. Это мы их могучий «мозговой трест», их «брэйн-траст». Это мы подарили им социализм и пылкого террориста Леву Троцкого… А ты сейчас заведешь речь о своих скудных гонорарах, начнешь разрушать ее Мекку. И ты прогоришь, потому что в их Квинсленде тебе вообще ничего не платили бы за твою муру третьего сорта. С легкой идеологической начинкой…»

Однако фантаст оказался на высоте. Он был оптимист, дела его шли неплохо, а к своему литературному промыслу он относился серьезно. Он вступил с Ив в душевный, хотя и косноязычный разговор о «Солярисе» Тарковского, который произвел такое приятное впечатление на лондонскую киноэлиту («Я мог бы вести рубрику "Вести из провинции"», – думал про себя Зенкович). Обед прошел в дружеской светской атмосфере: разговор по-английски, «андрикот по-пензенски», «какала» по-столовски, да еще два раза по сто – для Ив и фантаста. Произошел небольшой инцидент с «какалой». Ив сказала, что она не против кофе с молоком, но решительно возражает против сахара: сахар бесконечно вредоносен и очень дорог. Зенкович попытался объяснить, что столовский кофе (в просторечье «какала») заваривают в чайнике или котле, куда сразу кладут таинственные ингредиенты этого традиционного напитка новейшей русской кухни. Зенкович указал невесте на интернациональный и новаторский характер общепитовской кухни, которая, оторвавшись от своего русского истока, застряла на полпути к «андрикотам», попутно обогатившись макаронами с подливой. Однако Ив продолжала просить плачущим голосом, чтобы он, Сьоми, достал несладкого кофе, совсем без сахара…

Фантаст спас положение, заказав еще два по сто. Он сказал, что конечно же Ив должна пойти с ними на первое выступление – это страшно интересно, и зачем же ей оставаться одной в незнакомом городе. Зенкович попытался отстаивать их программу самосохранения, однако Ив, уже зардевшаяся от неразбавленной (или слегка разбавленной на кухне) ресторанной водки, проявила бешеное упорство. Фантаст ее поддержал. Он сломя голову мчался в атаку, и Зенкович узнавал его боевой задор: в былые годы, еще до брака Зенковича, они не раз вместе «тешили темечко» (именно так называл это занятие еще не поседевший в ту пору начинающий фантаст).

Пока мужчины расплачивались с официанткой, Ив подсчитала, что в Лондоне такой обед стоил бы целых три фунта, а то и больше. Поскольку они расплатились дешевыми русскими деньгами и сэкономили бесценные три фунта, настроение у них было вполне жизнерадостное. Лихо изловив такси, они отправились в клуб, на первое выступление.

Здесь Зенковичу пришлось представить Ив и остальным членам группы. Все, кроме руководителя, были приятно удивлены этим прибавлением. Руководитель был удивлен неприятно, и Зенкович объяснил ему, что у них с его невестой все о'кей, вполне официально, что вообще он все берет на себя, а кроме того, она будет жить в городе, на квартире, так что о ней не надо беспокоиться.

После этого началось их первое выступление. Зенкович вместе со всеми остальными сидел за столом президиума, на сцене, и видел свою Ив в конце зала. Он видел, с каким интересом она слушала вступительное слово их руководителя о том, что «у них стало доброй тра-

дицией…». Заметил, когда она устала слушать незнакомую речь и стала томиться. Потом он начал томиться и сам. Ив слегка оживилась, когда начал выступать фантаст, но через минуту или две на лице ее проступило то же выражение муки, с которым она слушала его домашние разговоры с друзьями. «А так как язык выучить она неспособна, – думал Зенкович, – то…» Он видел, как она вдруг встала и пошла к выходу, через весь зал. Вечер только начался, и поведение ее было верхом неприличия. Так позволяли себе поступать только те пьяные, которым не удавалось заснуть под писательский говор… Зенкович выступал последним. Он говорил о проблемах перевода иностранной литературы. Он знал, что присутствующим удавалось достать и прочесть только худшие образцы переводной прозы: лучшие было трудно получить, потому что они издавались малыми тиражами или не издавались вообще. Количество изданий сокращалось из года в год, так что надежды на то, что эти люди прочтут что-нибудь в будущем, тоже не было. Эти соображения, в сочетании с неотвязной мыслью о том, что делает сейчас Ив на улицах незнакомого города, никак не могли подогреть ораторский энтузиазм Зенковича. Он постарался закончить побыстрее, однако тотчас же посыпались вопросы. Их содержание он мог предсказать наперед, однако все равно пришлось отвечать: «Сколько языков вы знаете?» – «Когда вы решили стать писателем?» – «Платят ли писателям зарплату?» – «Были ли вы в Америке?» – «Знаете ли вы Евтушенко?» – «Знакомы ли вы с артистом Тихоновым?» – «Нравятся ли вам стихи Асадова? Прочтите нам наизусть». – «Почему так редко бывают хорошие фильмы?» – «Женаты ли вы?» – «Зачем издают такую дрянь, как писателя Фолкнера и еще одного китайского, не помню его фамилие?» Обычно вопросы мало-помалу оживляли, распаляли его, несмотря на чувство безнадежности. Они разжигали его угасающий просветительский пыл и остатки тщеславия. Но сегодня в душе была одна безнадежность. Безнадежность и мысль об Ив, которая там, на улице, будоражит провинциальные органы надзора своей непомерно длинной юбкой, своей манерой садиться на пол, если поблизости нет скамейки, своим желанием вступать в контакты, быть непосредственной и непредсказуемой – о, мать твою, помоги же мне, Господи, скорей бы все это кончилось…

После выступления руководство клуба повело товарищей писателей на товарищеский ужин, но Зенковичу было не до ужина. Он бросился искать Ив на этой заводской окраине, среди бетонных заборов и панельных домов, и отыскал ее в конце концов неподалеку от железнодорожных путей и пакгаузов, возле уже начавших рассыпаться панельных домов-коробочек…

– Посмотри, – сказала она, – это я нашла. Это мой собственный уголок. Красотища? Э риэл бьют? Бесподобно…

Зенкович признал, что место было действительно на редкость безобразное, просто ужасающее. Он не ругал ее за побег и даже благодарен был за то, что она все же отыскалась в конце концов, что она не сидела в кутузке и не лежала ни с кем на рельсах и что даже военного объекта не видно было поблизости от того места, где он ее нашел. «Вот и прекрасно, – повторял он, уводя ее на освещенную магистраль микрорайона, где им предстояло искать автобус или такси. – Все прекрасно… Ужасающе прекрасно… И как ты там говоришь? Бесподобно».

– Прекрасно! Тебе прекрасно! – неожиданно взорвалась Ив. – Бесподобно, да? Ах ты, грязный х..!

(Тут Зенкович призвал на помощь все свои литературно-лингвистические воззрения, чтобы несколько смягчить шоковое состояние, снять стресс и не съездить своей невесте по шее: он напомнил себе, забывчивому, что в английской литературе давно уже нет никаких табу, никаких ограничений, а следовательно, в живой народной речи их нет и подавно… Он напомнил себе, что русский язык остановлен пуристами, ханжами и консерваторами на определенной стадии развития, что делало невозможным адекватный перевод современной западной литературы. Он объяснил себе, наконец, что вследствие всех этих причин «дерти прик» вовсе не равнозначно буквально соответствующему ему в русской речи выражению «грязный х..». Что, с известными потерями, конечно, можно перевести его скорее как, ну, скажем, «Ах

ты падло!» Или так: «Ах ты сука!» Зенкович благосклонно выслушал свои собственные объяснения, но желание съездить ей по шее или начистить е....ник – как это, кстати, будет по-английски? – не пропало.)

Между тем Ив, далекая от его успокаивающих лингвистических затей, продолжала взвизгивать:

– Им прекрасно! Бла-бла-бла… И болтают себе с довольными рожами, и болтают, и болтают… А я сиди там слушай… Вот себя расхваливают перед толстенькими девочками… С толстенькими ляжками… А те слушают, рот разинули – и резинки у них на трусах лопаются…

Описание это показалось Зенковичу забавным, однако Ив вовсе не расположена была к веселью. Прежде чем они добрались до квартиры, которую Зенкович снял для нее, они успели дважды поругаться в автобусе, разыграв для пассажиров любительское представление на иностранном языке.

Дома Ив высказала Зенковичу несколько новых претензий, и, надо сказать, некоторые из них показались ему неожиданными. Заговорив о его приятеле-фантасте, Ив вдруг обвинила Зенковича в том, что он держал ее в Москве под искусственным колпаком, что он намеренно сузил круг ее знакомых.

– Что ж, это, пожалуй, верно, – сказал Зенкович, – поскольку еще не все формальности закончены, я не считал себя вправе знакомить всех моих друзей с тобой… Короче говоря, я знакомил тебя с самыми близкими друзьями, а этот человек… Мы были с ним близки когда-то, но потом…

Ив вовсе не желала слушать эти его глупости. Для нее совершенно ясно, что он искусственно ограничил этот круг, движимый ревностью. Просто он не хотел, чтобы она встречалась с молодежью, посещала студии молодых художников, компании здешних хиппи…

«Что ж, наверно, и это правда… – усмехнулся про себя Зенкович. – А почему я должен таскать любимую женщину по всем этим бардакам? Почему я должен вводить ее в искушение?»

Ему вдруг вспомнилась одна вечеринка в мастерской друга-художника… Его бывшая жена считалась тогда будущей женой – сколько же это было тому назад – девять, десять, о Боже, целых десять лет… Там был и этот самый писатель-фантаст – тогда он еще писал детективы. Когда садились за стол, влюбленный Зенкович ни за что не позволил ему сесть рядом со своей будущей женой, показывая, что здесь не былое спортивное соперничество, что это для него серьезно и он вовсе не хочет, чтобы все кончилось завтра… Ну а к чему это привело? К тому, что еще через семь-восемь лет, когда его не было рядом, чтобы помешать ей, она получила свое, угодила в постель такого же засранца, такого же шарлатана и делателя денег, наилучшим образом приспособленного ко всеобщей неприспособленности… Возвращаясь в мыслях к этому вечеру, Зенкович не раз думал в последнее время, что лучше, наверное, было бы предоставить ей тогда свободу выбора, узнать ее истинную цену и сберечь эти годы… Целых десять лет… Впрочем, для кого сберечь? Для других, похожих на нее? Ведь он выбирает таких. И что такое истинная цена? Что такое объективная цена женщины? Скорей всего, та цена, которую мы ей сами назначаем. Та высота, на которую мы ее возносим, чтобы потом всеми силами удерживать на этой высоте, пока еще теплится любовь. Когда есть любовь, это всегда завышение цены, преувеличение, гипербола. Во всех остальных случаях это может быть как принижением, так и здравой оценкой…

Когда Зенкович не вслушивался, он переставал понимать английскую речь. Сейчас он вслушался снова и обнаружил, что Ив еще толкует про то, что он искусственно ограничил круг ее знакомств. Он думает, если его жена была такая, то и все другие тоже, так вот нет: у них на Западе все совершенно по-другому, там вовсе не обязательно изменять мужу. И вообще, она не видит, почему бы ей не встречаться с молодыми людьми ее возраста, не проводить время в их компании. Какие у них здесь странные, азиатские обычаи… Вот там, на Западе…

– Везде одно и то же, – сказал Зенкович. – Заткнись. И раздевайся… А я, пожалуй, пойду в гостиницу… С утра нам на выступления.

– Я ухожу с тобой, – сказала Ив. – Я здесь не останусь. Ты нарочно привел меня сюда. Чтобы запереть в этой унылой комнате, с этим омерзительным модерном…

Она надела пальто и еще говорила, говорила что-то – о его эгоизме, о том, что она не какая-нибудь там, что никогда в жизни…

– У тебя нет документов. Нет разрешения. Ты не прописана в гостинице. Кроме того, там наше начальство… – Зенкович говорил все автоматически, безнадежно, понимая, что ему ни в чем ее не убедить, а главное – не победить…

Ив сказала, что она тайком проберется к нему в номер. Они всегда так делали с Томом. Том снимал себе номер, а она незаметно перебиралась к нему, и все было прекрасно…

– Это где было-то… – вяло возражал Зенкович, но они уже шли в эту самую его гостиницу, где была вся их группа вместе с руководителем, которому он обещал… – У вас там все по-другому. У нас здесь на шермака не проедешь. Тут у нас порядок…

Впрочем, Зенкович и сам чувствовал, что преувеличивает безупречный порядок, царящий в его возлюбленной России.

К полуночи Ив все-таки прорвалась к нему в номер, и они улеглись на узкую койку, где им не оставалось ничего другого, как заняться любовью. Занятие это с неизменностью повергало Зенковича в сон, от которого его пробуждала на рассвете сердечная боль, сопровождаемая бессонницей. Однако в эту ночь он проснулся задолго до рассвета. В комнате горел свет. Ив в его белой сорочке, едва прикрывавшей ей пупок, босиком направлялась к двери.

– Ты куда?! – очумело крикнул Зенкович.

– Пи-пи… – сказала она жалобно.

– Оденься.

– Зачем?

– Я сказал – оденься!

– Почему?

– Потому что у тебя пиписька торчит. Потому что увидят.

– Ну и пусть видят.

– И я не хочу, чтобы ты там по общей уборной босиком бродила, а потом – в постель…

– Подумаешь, какой чистый… У вас здесь вовсе не так уж чисто…

– Я сказал: оденься! Немедленно! Я не могу тебе все объяснять…

Он не мог начинать все сначала. Объяснять ей, что она находится у него в номере нелегально. Что будет скандал, если это выяснится. Выяснится, что у него в номере женщина. Что у него в номере иностранка. Что она разгуливает голой по коридору. Что они скандалят ночью. Ему вдруг припомнились рассказы о разгульном сыне того самого несчастного режиссера, на чьей даче они зимовали с Ив. Самый ужасный рассказ о его проступках состоял из одной фразы: «У него голые иностранки ночью из дачи выскакивали». Зенковичу вспомнилось, как однажды в Крыму, когда они с приятелем привели на чай страшненькую очкастую англичанку, хозяйка отказала им от дома (то бишь от сарая).

– Вы уже совсем распустились, – сказала она. – Русских девок тискали, шум-визг, я все терпела. Теперь еще эту привели, лопочет не пойми-разбери…

– Если пойдешь босиком, в постель больше не пущу, – решительно сказал Зенкович.

У него было, наверно, совсем отчаянное лицо, потому что она уступила, стала одеваться. Но в уборную не пошла, сидела одетая, скорчившись, и ныла:

– Я хочу пи-пи! Я умру…

– Поссы в раковину, – отозвался Зенкович мирно.

– Да! – Ив взвилась снова. – Да я в ней лицо мою…

– Вот и напрасно, – сказал Зенкович, совсем успокаиваясь. – А командированные в нее мочатся. До уборной шагать полмили, а тут рядом.

Зенкович принял седуксен и наконец уснул. Утром он вспомнил, что она дважды пыталась растолкать его ночью, теребя за причинное место. При этом она повторяла с ненавистью:

– Храпишь в своем химическом, синтетическом сне…

За завтраком воспоминания о прошедшей ночи повергли его в ужас. Он понимал, что страхи его преувеличенны, но все больше погружался в свой параноидальный ужас. Голубоглазое дитя идиллического Квинсленда вырастало в его воображении до размеров сказочного дракона. Он обрек себя на жизнь в одной клетке с драконом… Метафору эту отчасти подсказала ему сама Ив. Она кричала вчера, что он собирается запереть ее в золотой клетке. Это была, конечно, довольно смешная метафора. «Золотая клетка», вероятно, льстила ее самоуважению. Впрочем, она всегда склонна была преувеличивать материальную обеспеченность Зенковича и его друзей. Это впечатление сложилось у нее давно, когда они засыпали ее подарками. Зенкович побаивался, что в один прекрасный момент она осознает их истинное весьма скромное положение…

В тот день у Зенковича было только одно выступление, вечером, так что весь день они провели с Ив – почти весь день бродили по городу… Зенковичу этот город древних церквей и недавней ссылки навевал много воспоминаний и печальных ассоциаций. Наученный уже горьким опытом их прежних экскурсий, он ничего не рассказывал Ив. Он знал, что ей все это не нужно. Она не только забудет через полчаса и название города, и его историю, она еще будет упрекать Зенковича в том, что история так печальна. «Солженицын неправ! – воскликнула она однажды в споре с его друзьями. – То, что он изображает, – это всего-навсего столкновение с жизнью. Откуда же люди знают, что их столкновение с жизнью должно носить не такой характер, а какой-нибудь другой?» Кажется, никто из его друзей не смог ей тогда растолковать, отчего им хотелось других, а не таких столкновений с жизнью…

Помня о вчерашнем скандале, Зенкович попытался отправить Ив на время выступления в кино, но она вдруг решила пойти с ними. Приятель-фантаст пообещал переводить ей все выступления, чтобы она не скучала. И она действительно не скучала. Глядя, как они оживленно беседуют, как его приятель словно бы непроизвольно хватает Ив за руку, Зенкович проникался сознанием надвигавшейся катастрофы. Позднее он часто спрашивал себя, мог ли он догадываться, что там, вдали, за обломками грядущей катастрофы, должен забрезжить для него кровавый просвет надежды? Надежды на освобождение? Наверное, мог. А мог ли он предотвратить катастрофу? Наверное, нет. Разве только отсрочить ее до нового случая…

После выступления они ужинали всей группой. Ив выпила вместе с другими, а потом они пошли гулять втроем, и было уже около десяти, когда фантаст предложил поехать к его здешним друзьям, молодым художникам, которые звали его, да что там – звали их всех. Можно взять с собой выпивку и поехать – там огромный подвал, авангардная мастерская, такая одна в этом городе, отличные ребята и выпить не дураки – будет много шума; кстати, там и остаться ночевать можно – конечно, вы с Ив можете остаться ночевать, добавил фантаст благородно и жертвенно, а я поеду к себе в гостиницу…

«Да, да… – подумал Зенкович. – Что-то в этом духе еще нужно перетерпеть, что-то тягостное, утомительное и невыносимое, на пути к другому, еще более тягостному…»

Ровным голосом Зенкович сказал, что он давно уже разлюбил пьяные и бессмысленные сборища нашей авангардной, половозрелой, но умственно незрелой братвы, этих мальчиков и девочек, тетечек и дядечек, их пустопорожнюю говорильню и полутрезвые выкрики… Ив сказала, что это он назло им не хочет, что надо ехать, что ей очень хочется поехать, что это, наконец, необходимо и полезно для дальнейшего изучения страны, для расширения кругозора.

– Ну что же, езжайте, – сказал Зенкович со спокойствием отчаянья. – Я буду в гостинице. Постарайся вернуться до полуночи, Ив, потом уже не пройдешь в номер…

Он вдруг понял то, что сказал… Понял, что это значило. Для него. Для нее. И она, вероятно, поняла что-то, потому что вдруг притихла и посерьезнела. Она схватила его за руку, но тут же отпустила и стала с преувеличенной вежливостью благодарить фантаста за то, что он понимает, как это важно для нее – все видеть, и берет на себя заботу, и подвергает себя неудобствам. Зенкович думал о том, что еще не поздно пойти с ними, выдержать всю эту нуду и унижение, но зато привести ее домой, хотя бы до следующего раза… Но он не хотел идти туда и считал, что прав; и он не верил больше в то, что можно кого-нибудь спасти от искушения. А может, ему еще и виделось вдали, за обломками их крушения, то самое, красное от крови сердца зарево надежды… Она еще тоже могла все поправить – вдруг взять его за руку, проститься с фантастом и пойти домой, в ту же постель, что и вчера… Однако искушение было новым, а постель была старой, той же, что вчера, и она считала, что правда на ее стороне, что ж тут такого, если она побывает в гостях, даже и без него – в конце концов на карту была поставлена ее свобода европейской женщины из тихоокеанского Квинсленда… Они притихли оба, и Зенкович предложил купить бутылку вина, чтобы она могла внести свой вклад во всеобщее веселье, однако фантаст воспротивился, он сказал, что ничего не нужно, он сделает все, и будет коньяк, и все что надо: он словно говорил этим Зенковичу, что, мол, если решил уступить, то не мешкай, уходи с дороги, все сделаем, все будут довольны, и все будет как в лучших домах, не маленькие… И был еще один момент, когда фантаст выбежал на дорогу ловить такси, Зенкович поднял на нее взгляд, уже отравленный болью, и увидел вдруг, как слезинка сбегает по ее застывшей розовой щеке… Можно было все перерешить, изменить еще, можно было обнять ее, он видел, что она страдает… Но он видел также, что она не откажет себе в новом развлечении, в новом опыте… Тогда он резко повернулся и пошел, не оглядываясь, прочь, побежал прямым ходом в гостиницу, словно боясь передумать, однако уже предчувствуя, уже ощущая больным сердцем и всей кожей, на что обрекает себя. Но, только очутившись в своей комнате, он почувствовал по-настоящему, что она уже началась, эта знакомая мука ревности и отчаяния, доводящая до головокружения, до тошноты. Он еще дорогой успел подсчитать, сколько она может продлиться – скажем, до полуночи, то есть два с половиной часа, сто пятьдесят минут, ну а если до часу, то двести десять тягостных, нестерпимых минут… Зенкович понимал также, что он обманывает себя, знал уже, знал наперед, что она не придет до двенадцати, не сможет и не захочет прийти, а придет, может быть, под утро – то есть будет полтысячи или больше минут этой вот муки, и никакого избавления, он достаточно стар, чтобы не поверить ни в какие случайности, ни в какие утешительные рассказы, – он стар, он сам битый, и он хорошо знает своего писателя-фантаста, видел его именно в таких ситуациях, так что это все, это конец, во всяком случае, начало конца… Она виновата во всем, она хотела этого, он ведь чувствовал, как сильно она этого хочет, а раз хочет, значит, осуществит раньше или позже, не сегодня, так завтра, да, она хотела, но ведь это он толкнул ее туда, почти подстроил все, и это испытание для нее, и эту муку для себя, а она маячила на горизонте – надежда на постылую свободу, на освобождение – в пламени сжигаемых мостов, горящих обломков…

Да, Ив виновата, но больше виноват он, Боже, прости, если можешь, он был несправедлив к ней, он, пуганый, старый, слабый, не имеющий внутренней свободы и не умеющий дорожить ею; он упрекал ее в том, к чему сам всю жизнь стремился, и самую ее любовь, самое стремление быть с ним всегда и всюду не умел ценить по-настоящему, что ж удивительного, если она в конце концов… если она сейчас…

Может быть, он верно угадал, верно предсказал, что будет, но он не стал ждать, он прокрутил всю ленту до срока, торопя время, желая видеть конец и тем самым лишая себя того, что должно быть в промежутке, лишая себя главного… Что ж из того, что он мог предугадать конец, всегда можно его предугадать, все могут, значит ли это… Это значит только, что у него нет сил и нет терпения… Ах нет? Так, значит, терпи сейчас, стисни зубы и терпи, не мечись по комнате, не стенай…

Ив и фантаст появились за завтраком, когда все уже сидели в ресторане за столиками, – достаточно неприятно было то, что все видели, но что уж тут мелочиться, снявши голову… Зенкович вполуха слушал их дружные объяснения: все было великолепно, они проговорили всю ночь, хотели уехать раньше, но не было транспорта, никаких машин, а там были такие ребята…

В тот день состоялось их последнее выступление. Ив встала и вышла через весь зал во время выступления фантаста, так что Зенкович мог бы счесть это еще одним подтверждением, если бы у него еще были сомнения и он нуждался в подтверждениях. Но он не нуждался в них, он и так знал все наверняка. Это было привилегией и несчастьем его возраста и опыта. К тому же он знал, что для нее такой уход не был демонстрацией, она могла встать потому, что ей просто захотелось писать или у нее вспотела спина, – она была непосредственное дитя из Страны Великой Непосредственности и Большого Опрощения. Впрочем, все, решительно все было не важно теперь, потому что они вдвоем, они оба, подрубили последнюю опору того хрупкого здания, которому и без них угрожало столько опасностей, но окончательно погубить которое могли только они сами…

В ту же ночь Зенкович вместе с Ив возвратились в Москву, отказавшись от увеселительной прогулки, устроенной обкомом для группы писателей.

Глава 6

Они ни о чем не говорили в Москве. Впрочем, однажды, когда Зенкович предложил Ив познакомить ее с одним киношником, большим ходоком по дамской части, она разразилась длинным монологом о том, что у русских странные представления о роли жены, о ее поведении в обществе, что они хотели бы запереть женщину в золотую клетку (Зенкович едва удержался от улыбки при этом, представив себе русских, обладающих таким количеством золота), что им кажется, будто всякая женщина, которая пришла домой поздно…

Зенкович молчал. На него навалилось бедствие, которого он успешно избегал лет десять, – ремонт квартиры. Отец и мачеха осмотрели квартиру в его отсутствие и, придя в ужас, пригласили рабочих из бюро ремонта. А пока, желая помочь Зенковичу, они сами ободрали обои. По возвращении Зенковичу ничего не оставалось, как предоставить себя судьбе. На второй день пришла женщина-маляр из бюро ремонта. Зенкович предъявил ей квитанцию об уплате. Она улыбнулась снисходительно и сказала, что если он сейчас выложит еще полсотни, то она, может быть, начнет красить на той неделе и тогда еще через неделю… Только он должен собрать вещи, накрыть пол газетами… В общем, наступила трудная пора жизни. Обнаружилось (впрочем, это не было для него полной неожиданностью), что Ив не намерена принимать участия в его хлопотах. Работа быстро утомляла ее, и всю жизнь она более или менее успешно уклонялась от нее. Конечно, ей приходилось работать, и не раз, такова была бесчеловечная действительность западного мира. Это почти всегда был черный труд – уборщицы, судомойки, официантки. Однако она шла на это в случаях крайней нужды – в студенческие годы, во время путешествий, на чужбине… Чаще все-таки на помощь ей приходил какой-нибудь из поклонников, который помогал вылезти из нужды. Зенкович, возможно, казался ей самой надежной защитой от подобных неприятностей. Он был по-русски щедр, и, вероятно, поэтому ей казалось, что он богаче всех ее прежних поклонников. И вдруг такая подлость: квартира, ремонт. Ив заявила, что ей вообще не нравится эта квартира. Она всегда говорила, что ему следует купить квартиру где-нибудь в старинном доме, в центре. Эти жуткие современные окраины вызывают у нее отвращение. Она уехала вечером к подруге Дженни, потом позвонила оттуда и сказала, что у Дженни будет прием и что она должна помочь ей испечь пирог. А завтра они пойдут в театр.

– Понятно… – сказал Зенкович. – Ты можешь побыть там и дольше. А можешь… остаться насовсем.

Он не мог сказать наверняка, что хочет этого. Однако в минуту их разговора он был в этом почти уверен. Тянуть дальше было ни к чему. Он знал, что в трудную минуту она всегда покинет его, в час болезни будет попрекать немощью, а может, не дождется ни того, ни другого… Она была предсказуемо ненадежна. А он жаждал надежности: кошмар предательства преследовал его теперь в отношениях с женщинами, которых он начинал предавать таким образом с первой минуты знакомства.

Он бродил по квартире, покорно выполняя указания женщины-маляра: двигал мебель, переносил вещи, перебирал тряпье. Однажды среди тряпья ему попалась записка, написанная рукой Ив. Она начиналась по-русски, с обращения: «Сиоми мили!» Прочитав это, он вдруг пришел в ярость – за столько времени она так и не научилась правильно писать его имя. Его захлестнула непонятная, ни с чем не соразмерная злоба на нее, обида на нее, обида на себя за то, что они не смогли… Он. В первую очередь он – не смог ничего. Все могло быть, и вот – ничего не будет уже…

Ремонт в конце концов все же пришел к концу. Зенкович уже завершил уборку, когда вдруг позвонила Ив. Она сказала, что ей нужны кое-какие вещи. Зенкович ответил, что приехать к нему нельзя: у него живет девочка, которая помогает ему по хозяйству. (У Зенковича и

правда был соблазн позвонить Василисе, которая выпила бы два стакана вина и помогла убрать квартиру.) Он сам привезет вещи к Дженни. Записать какие вещи? Не надо записывать. Он привезет ей все вещи. Весь чемодан.

При сборах у него возникли трудности. Он быстро упаковал чемодан, но оказалось, что в углу сложены ее русские подарки: они заняли еще два чемодана. Зенкович пригнал машину и поднял вещи в квартиру Дженни. Ив открыла ему дверь. Дженни и ее мужа не было дома.

– Они счастливы, что я живу с ними, – сказала Ив, – им так скучно без меня…

– Легко представить себе, – сдержанно сказал Зенкович.

Она была в красивой серой кофточке, принадлежавшей Дженни. Зенкович понял, что ситуация создалась идеальная для бедняжки-хиппи: ее собственные вещи были в руках у русских дикарей.

– Мои друзья на дипломатическом приеме, – сказала Ив. – Они ведут пустой и рассеянный образ жизни, как все западные бездельники…

Потом, вспомнив о необходимости быть к ним сейчас снисходительной, Ив рассказала, что вчера они напились все вместе и Дженни с мужем были великолепны. Было так весело! Кончилось это веселье четырехчасовой дискуссией о тоталитаризме и свободе воли.

– Напряженная умственная жизнь… – сказал Зенкович, стоя на пороге.

Она была одна в квартире, синие глаза смотрели грустно и рассеянно. Губы были полураскрыты. Зенкович знал, что, подойди он ближе, она коснется его щеки…

Он простился и вышел. Долго стоял на площадке, ожидая лифта: панельная роскошь дипломатического дома уже распадалась на куски. Зенкович добрался в обшарпанном лифте до первого этажа, вышел на улицу, оглушенный побрел к метро. Руки его были свободны от чемоданов, сам он был свободен. Он мог позвонить Василисе в общежитие, мог заехать за ней (она вылезет к нему через мужскую комнату на первом этаже). Он может поехать к сестре, а может завтра улететь в Крым. Может улететь в горы, в Приэльбрусье, встать на лыжи. Все можно… Все печально. Но все уладится…

– Сьоми! Сьоми!

Он обернулся. Ив бежала за ним. На ней была роскошная меховая накидка Дженни, тапочки на босу ногу. Вот она остановилась, взяла тапочки в руку, побежала босиком по тротуару, через вокзальную толпу. Сейчас милиционер остановит ее, босую…

– Сьоми!

Она прижалась к его щеке полураскрытым ртом, прижалась к нему вся, вернее, вжалась, втекла в каждый уступ его тела, приняв в себя каждый его выступ.

– Сьоми! Я не хочу без тебя! Я хочу тебя… Мне так хочется…

– Хочется, можется… Перехочется, переможется… – повторял Зенкович, печально гладя ее спину. – Перемелется, будет мука. Пойдет на удобрение полей…

Они пошли в метро. Она забегала вперед, смотрела ему в глаза.

– Сьоми!

– Надень тапки, – сказал он, и она повиновалась с радостью: это значило, что он обратил на нее внимание, не возражает, чтобы она ехала с ним, хотя вот, пожалуйста, настаивает на тапках, глупости и предрассудок, как всегда…

Она была нежной, и все у нее было прекрасно, так прекрасно в тот вечер, что он думал, засыпая, сквозь блаженную дремоту: «Чего от нее требовать? Чего ждать? Женщина и есть женщина. Очень глупая, очень молодая. В переводе по курсу валюты ей не больше наших пятнадцати… Надо только помнить, что она не весь человек. Часть человека. Парс хомини. Дать ей соответствующее имя и помнить. Как же, значит, окрестить ее? Ах, ну ясно как. П..денка. Как это будет по-английски? Никак. Разве я мог такое перевести? Разве я вообще могу переводить? Просто п..денка… П..дьонка…»

Назавтра с утра он убежал по делам, «бегал в метро, точно крот», повидался с сыном, зашел в один магазин, второй, а когда вернулся после обеда, увидел, что в прихожей и в кухне чисто вымыт пол. Ив, нарядившись в его свитер и джинсы, убирала в комнате.

– Умница… – сказал он.

Она обернулась, отерла со лба пот, и он увидел, что она глубоко несчастна.

– О, конечно, ты обрадовался… Я тут надрываюсь с утра до ночи, и ты обрадовался. Бесплатная прислуга. О, ты так обрадовался! Твои маленькие еврейские глазки так и загорелись…

Зенкович даже не сразу понял, что произошло. Правая рука ныла. Вероятно, он все же сильно съездил ей по физиономии. Ну да, что ж такого, он ударил ее. То есть как что такое? Он, который никогда, никогда в жизни не бил никого… Правда, это не первый случай, когда она доводит его до такого состояния, что ему хочется ее ударить, именно ударить…

Она лежала на диване и горько плакала. Бедное дитя. Бедное дитя горько плачет на чужбине, обливая слезами несвежую наволочку…

«Как все мерзко, – думал Зенкович. – Какая я стал гадина… Но ведь это она…»

– Сьоми! – прошептала она. – Ты не хочешь меня поцеловать? Ты не хочешь обнять меня?

Она что-то шептала, всхлипывая, торопливо стаскивая джинсы с молочно-белых ног.

«Боже! – думал он, кляня себя и раздеваясь. – Она еще, кажется, и мазохистка. Ну да, конечно, как я не догадался раньше? Значит, надо бить? Но я не могу этого, не могу… Что же будет? Что будет со мной? С ней?»

– Скорей, Сьоми… – сказала она, повернув к нему зареванное лицо. – Ты ведь любишь меня… Правда?

Нет, нет, ничего не стало ясней, будущее все так же нависало над ним, тягостное, чреватое неведомой угрозой и вполне реальными муками, и просто все отступило на мгновение, оставив им какие-то глупости, минуту самоуспокоения, Сьоми, возьми меня скорее, о, Ив, п..дьонка, Боже, да что я так много думаю о том, что будет, зачем придавать себе и своему будущему столь огромное значение…

Приближался срок, назначенный им непостижимо благожелательными властями, и было утро, и был четверг, и Зенкович сел за перевод с утра – нужно было снять вопросы редактора, а Ив уехала куда-то в посольство продлевать визу и завершать еще какие-то формальности.

Зенковичу позвонила Василиса. Ей нужна была книжка. Впрочем, можно обойтись. Нужна или не нужна? Голос ее опускался до самых низких регистров. Вероятно, по представлениям, царившим у них в училище, это было особенно сексуальным тоном. Василиса сообщила, что девочка, которая украла жень-шень – он ведь не забыл? она рассказывала, нет, нет, не забыл, – эта девочка восстановлена в училище и теперь живет в одной комнате с Василисой… Зенкович не знал, радоваться он должен или негодовать, поэтому воздержался от комментариев.

– Ну что же… раз так, пока… – сказала Василиса.

Зенкович снял почти все вопросы редактора: шесть вполне толковых и сорок два идиотских. Некоторые карандашные заметки он просто стер резиночкой и оставил без внимания, против других изобразил муки слова.

Щелкнул замок, вошла Ив. Не раздеваясь, она села на стул, внимательно взглянула на Зенковича, отерла слезу со щеки.

– Опять оштрафовали? – весело спросил Зенкович.

– Мне не продлили визу, – сказала она. – Послезавтра я должна уехать…

Все остановилось. Все начало раскручиваться в обратную сторону, со страшной и неожиданной силой. Зенкович встал, почему-то не смог заговорить сразу, потом спросил почти спокойно:

– Ты не звонила Дженни? Может, они смогут…

– Звонила. Она сказала, что не могут… Она даже не стала ничего выяснять.

– Не надо было жить у них так долго… – сказал Зенкович.

– При чем тут это? Они были очень рады, что я живу!.. – крикнула Ив. – Ты нарочно так говоришь. Ты хочешь меня рассердить… – Она вдруг осеклась. – Что же делать? – сказала она тихо, беспомощно. – Ты не можешь оформить мне приглашение?..

– Кто мне позволит?

– Тогда нужно покупать билет… – сказала она тихо и мелодично, будто пропела, и больше уже не повышала голоса, жалобно и тихо говорила-пела, словно вознамерившись еще больше растравить ему душу, словно мало ему было тех терзаний, которые выпали на эти дни и которые останутся ему до конца жизни, – нужно покупать билет… Билет очень дорогой…

– Чепуха, – сказал он. – Какая чепуха. Что делать?

– Нужно покупать билет…

Они перешли на старый диван, прибежище, которое спасало их друг от друга, а теперь должно было спасти друг для друга…

– Знаешь, – сказала она, вдруг повеселев. – У меня есть студенческая карточка на этот год. Я уже купила по ней в Афинах авиабилет за полцены.

– Откуда карточка? Ты ведь уже давно не учишься.

– Я купила ее в Лондоне за восемнадцать пенсов. Там есть компания студентов, которая подделывает карточки и продает…

– Здесь не проскочит, – сказал Зенкович. – Здесь не выгорит… Ив… Дуреха… Мошенница… Шаромыжница… Лягушка-путешественница…

– Как ты говоришь? – прошептала она. – Скажи. П..дьонка? Ой, больно, Сьоми! Еще, Сьоми, еще…

– Чтоб ей, конечно, угодить… – шептал Зенкович, мучая ее, обмирая от страха…

Утром они купили билет. А потом был еще один, вовсе сумасшедший вечер, когда она собирала вещи, деловито и сноровисто перекладывала из чемодана в чемодан, утрамбовывала, перетаскивала, а потом вдруг замирала в неподвижности…

– Ив! Тебе нравилась эта ступка, возьми…

– Зачем? Это очень дорогая. Ты ее любишь.

– Возьми. А то выброшу в мусоропровод. А это возьми для твоей мамы. Вот это тоже…

– Я оставлю тебе это мыло. Это очень дорогое мыло.

– Этот альбом возьми тоже… И этот…

Была отчаянная потребность сорвать все со стены, с полок, запихнуть к ней в чемодан. И она, из страны в страну перевозившая в сохранности свой нетронутый багаж девочки-хиппи, тоже вдруг захотела оставить ему – и то и это… Все эти непропадающие предметы, эти неумирающие тряпки утратили вдруг всякую цену и всякий смысл. Они хотели бесстыдно пережить тебя, пережить мгновения твоего счастья и горя, самую твою жизнь.

Потом Зенкович лежал на диване в спальне и смотрел в коридор. Большое зеркало на стене коридора отражало трогательную фигурку Ив, склонившуюся над чемоданом. Вот она распрямилась, подняла взгляд своих огромных и голубых, своих отрешенных глаз к полкам. И вдруг вскочила с неожиданной резвостью, оглянулась на дверь, сняла что-то с полки и сунула в чемодан. Зенкович без труда вспомнил, что стояло у него на этой полке – деревянный складень то ли прошлого, то ли позапрошлого века. Ей нравился этот складень, и она не раз держала его в руках… «Бедняжечка-хиппи, – подумал Зенкович. – Бедная заморская хиппесница. Если бы я и раньше мог смотреть на тебя вот так же. Снисходя ко всему, все прощая. Вот так любя и жалея…»

А потом была эта последняя ночь, когда он засыпал и тут же просыпался в ужасе от того, что пропустил что-то. Что он проснется и вот уже все кончено, надо ехать на аэродром, или просто проснется – а ее нет…

На рассвете он увидел, что она уснула у него на руке, прекрасная, юная, зареванная и несчастная, и он задохнулся от жалости к ней и к себе, снова пережил эту ненависть к себе и к ней за то, что они не смогли все сделать, все уладить, а главное – не смогли ужиться, не смогли быть счастливы, не смогли и уже не смогут никогда.

Потом было утро в суматохе сборов, были поиски машины, грустное утро полуфраз и слез, и – вот они уже едут обнявшись в такси по улице Горького, по Ленинградскому шоссе…

– Здесь живет Гриша. Помнишь?

– Привет Грише…

Потом было Шереметьево, эфемерная деревянная перегородка, вертушка, а дальше какой-то коридорчик и дверь – на Запад, в туда, в никуда… За этот час в аэропорту Зенкович трижды сталкивался с какими-то парнями, кажется студентами, кажется, они провожали какую-то не нашу заплаканную девочку, долговязую и очкастую. А может, и не провожали никого. Эти парни помогли ему донести вещи. И вот сейчас, когда Ив обняла его в последний раз, лихорадочно, до боли сжала ему шею – «Сьоми! Сьоми!» – ее поношенная рыжая дубленка мелькнула за одной дверью, за второй, когда у Зенковича сжало в горле, он судорожно глотнул и оглянулся, ища опоры, ища выхода, он увидел снова этих парней. Они ждали его. Один из них сказал:

– Так-то, пошли, друг…

Другой завопил дурашливо:

– А я остаюся с тобою… И Африка мне не нужна…

– Пошли, – сказал Зенкович безразлично. – Пошли.

«Бахорфильм»

Когда Зенкович начинал рассказывать историю своего прихода в восточный кинематограф, и в частности своего долгого и плодотворного сотрудничества с киностудией «Бахорфильм», получался полный абсурд и гротеск, в общем черт знает что, вещь совершенно неправдоподобная и недостоверная. Между тем все, что он рассказывал, происходило на самом деле, и если взглянуть внимательно и непредвзято, то происходившее вовсе не было таким уж абсурдным. Да кто мы такие, в конце концов, чтобы окончательно установить, что естественно, а что абсурдно? С какой такой морально-этической, художественно-эстетической и производственно-экономической высоты можем мы вынести все эти уничижающие суждения о такой вполне уважаемой отрасли индустрии и художественного воспитания масс, как всеми нами любимое кино, и об участии моего друга Зенковича в творческом процессе кинематографа? Автор, во всяком случае, не берется выносить эти суждения. Однако он берется попросту рассказать обо всем, что он, как человек, близкий к Семену Зенковичу, знает достоверно и что он, как человек с железной логикой и тонким проникновением в противоречивые чувствования своего друга, смог распутать и поставить по местам. Автор считает это своим долгом как перед другом, неспособным к такой исповеди, так и перед многочисленными заинтересованными лицами, перед родственниками Зенковича, а также перед высоким и холодным оружием искусства кино, которое, оставаясь национальным по форме и реалистическим по содержанию, ждет еще своих Нестеровых, Флавиев, Белинских, Гоголей и Салтыковых-Щедриных.

Итак, начнем с начала.

* * *

Сам С. Зенкович считает, что рассказ этот следует начинать с его драматической карьеры, без которой не началась бы его кинематографическая карьера. Не считая драматургическую карьеру своего друга заслуживающей специального внимания историков театра, автор все же согласен упомянуть о том, что несколько лет назад его друг С. Зенкович (ныне уже член групкома драматургов) написал довольно еще ученическую и весьма среднюю пьесу «Горячее дыхание жизни», которая была поставлена одним из худших московских театров, а вслед за этим упомянута (в смысле отрицательном) в нескольких центральных газетах и сделала, таким образом, имя моего друга известным среди людей, близких к театру и драматургии. Действительно, может быть, именно этим объясняется то, что выбор студии «Бахорфильм» пал в критическую минуту именно на С. Зенковича. Хотя, на наш взгляд, к этому могли привести и многие гораздо более случайные факторы.

По мнению автора, начинать следует все-таки от истоков, с востока, откуда встает солнце и откуда поступило приглашение для сотрудничества, ибо не будь приглашения, не было бы и сотрудничества. А с этой, восточной, стороны голая правда (если отбросить восточные орнаменты подробностей) выглядела примерно так.

Вполне известный у себя в республике поэт Мураз Муртаз, очутившись однажды в совершенно безвыходном положении (в командировке, на Севере, в нелетную погоду, при полном отсутствии денег и спиртного, в окружении одних только мужчин), оказался прикованным к письменному столу на двое суток и в результате (вместо обычного получасового стихотворения о привольных хлопковых полях, о разбитых басмачах и газельих глазах) написал лирическую поэму «Девушка из чайханы». Это был настоящий продукт невольной и плодотворной сублимации – поэт с большой теплотой и нежностью вспоминал дороги своей ласковой и сытой республики, а также узкие серебряные щиколотки и расписные шальвары некоей девушки из

придорожной чайханы. По этой дороге день и ночь шли могучие МАЗы и КрАЗы с передовой автобазы, везли какие-то тяжелые штуковины для прославленной стройки. Шоферы заходили в чайхану выпить чаю, и все как есть влюблялись в девушку с газельими глазами, со щеками, нежными, как пушистый персик. И поэт был и вздыхал там вместе со всеми. И обращался к ней с пламенной речью, призывая девушку предпочесть его всем красавцам, сколько их есть на свете, потому что они, по мнению поэта, были бедней его духом, хотя порой и лучше телосложеньем. Поэт грозился подарить девушке весь богатейший ассортимент продукции, выпускаемой ныне его республикой (стихотворный перечень вводил нас в самую гущу экономических успехов этой некогда отсталой окраины России), а также все ее природные данные, леса, реки, горы, недра, включая и некоторые предметы международной и даже космической компетенции (луну, звезды, облака, рассветы, магнитные колебания и земные притяжения)… Шли часы и минуты, поэт вынужден был вместе с другими тружениками автотранспорта двинуться дальше, ревнуя к счастливцам или счастливцу, который останется там дольше, намекая, что вряд ли этот человек (или эти люди) будут достойны своего счастья. Маленький эпилог давал нам намек, что поэт не без основания испытывал все эти опасения. Однажды через определенный отрезок времени (у всех народов одинаковый) поэт увидел у ног девушки ребенка и понял, что нежеланное свершилось – кто-то надругался над чистотой этой девушки, сделав ее женщиной. Вероятно, сделано это было не так, как положено, или не так, как сделал бы это поэт, потому что в эпилоге чувствуется сожаление и даже грусть. Однако в самом конце этот минорный мотив как бы покрывается гулом мощных КрАЗов и МАЗов, увозящих свои промышленные грузы на кипучие стройки Бахорской республики (в просторечье просто Бахористана). Таково вкратце содержание этой поэмы, которая в оригинале, видимо, обладает большим набором аллитераций, ассонансов, анафор, метафор и прочих тропов, однако в русском переводе просто излагает достаточно складно именно то, что было пересказано выше, и тем самым переносит нас в атмосферу расширенного строительства и цветущих девушек.

Поэму эту тепло встретили в республике. Она даже была упомянута в центральной печати как доказательство того, что национальная культура развивается на местах раз от разу, несмотря на происки тех, кто говорит обратное и не хочет замечать очевидных фактов. Раздались трезвые голоса, требующие перевести эту поэму на русский язык с привлечением специальных поэтических кадров, владеющих рифмой и прочим оружием стихосложения. Поэма и была переведена одним из соответствующих специалистов, заинтересованных в развитии братских литератур и дополнительном заработке, на чем история, может, и заглохла бы, не получив никакой связи с моим другом Семеном Зенковичем, если бы не целый ряд разнородных обстоятельств, собранных воедино волей случая и суровой закономерностью природы. Во-первых, бахорский поэт Мураз Муртаз был сильно многодетным, любил женщин и дорогостоящие (как раз в этот момент еще сильнее вздорожавшие) напитки, получал маленький гонорар и совсем небольшое жалованье, то есть, говоря короче, испытывал потребность в деньгах (хотя принципиально, как поэт, он наличные деньги, а также и все эти золото, кораллы и прочие драгоценности – отвергал). Эта его потребность не являлась, впрочем, совершенно оригинальной чертой его творческой индивидуальности и могла бы ни к чему интересному не привести, если бы не два других обстоятельства. Одно из них было опять-таки не вполне оригинальным или необычным. В республиканской печати в тот год (так же, как в прошлом, позапрошлом и в другие годы) во весь голос заговорили о сценарном голоде, который испытывает национальный кинематограф, и о необходимости все шире опираться на местные литературные кадры, поскольку национальная литература давно уже встала на ноги и стала явлением, с которым не могут не считаться даже наши враги (в качестве доказательства последнего тезиса обычно приводился факт перевода на французский язык одного восточного автора, к Бахористану, впрочем, прямого отношения не имеющего). Второе обстоятельство было более существенным. На студию «Бахорфильм» пришел новый директор, родившийся в той же самой

горной долине, что и Мураз Муртаз, то есть приходившийся этому поэту в известной степени земляком, а также товарищем его игр (не детских, правда, а уже более зрелых и мужественных игр, вероятно, можно было бы назвать их внебрачными играми, поскольку они происходили уже в женатые годы). Именно директор и подал идею о немедленном заключении с известным поэтом договора на сценарий под тем же названием, под которым прославилась его поэма, то есть «Девушка из чайханы». С приходом нового директора на студию пришел новый деловой дух, поэтому все формальности были закончены быстро и беспрепятственно. Как стало известно, в разговоре со своим влиятельным другом-директором поэт признался, что он еще не писал сценариев, хотя тут же согласился, что не боги обжигают горшки и когда-то начинать надо. Слабая наша осведомленность побуждает нас с сожалением пропустить очень важный и привлекательный период, последовавший за получением аванса, но можно предположить, что он включал и поездку в знаменитый загородный ресторан, где в большом котле на берегу прохладной речки варится плов и дымится шашлык, где режутся упоительно пахнущие дыни и блестит стеклянным боком спелый виноград. Где мужские тосты горячит звонкий женский смех (этот смех стоит у нас в ушах, и мы готовы биться об заклад, что так смеяться могут лишь русские женщины, на худой конец татарки, настоящая бахорка так и в таких местах смеяться не станет). Где укрепляется мужская дружба, даются обеты и прорастают ростки идей и вдохновения…

Подошел срок сдачи сценария, и поэт сел за работу. Он понимал, что сценарий – это должна быть, в сущности, просто хорошо написанная повесть, учитывающая, по возможности, требования кинематографичности (вероятно, им требуется, чтоб было чего видеть, а не только слышать). Трудность заключалась в том, что поэт повестей тоже никогда не писал, а начав, занятие это нашел тягостным. Мучаясь над первой в своей жизни повестью, он узнал о себе много приятных истин. Он понял, что он, по существу, лирик и оратор. Немножко философ. Чуть-чуть пессимист. И еще чуть-чуть больше – оптимист. Что судьба его схожа с судьбой всех крупных поэтов Востока, которых томила истома. Что он ненавидит байство, презирает богатство и хотел бы всего-навсего «с милой пить». Что день, проведенный с чашей над ручьем, а также над кудрями легконогой и луноликой, для него дороже царств и вообще всякого монархизма. Все эти истины приятно кружили голову, однако никак не отменяли тягомотину сценарного дела…

В конце концов поэт все же сценарий написал. Он был размером с небольшой роман, и в нем даже был сюжет, точнее, много сюжетов. Еще точнее, в нем были все сюжеты, какие поэт встречал раньше в кино. Бедную девушку из чайханы сватали, увозили, привозили, похищали, увольняли, повышали, бросали вниз с высокого берега, вылавливали из воды, сушили, одевали в дорогие одежды, увозили снова. Шоферы при этом состязались в ловкости, соревновались в шоферском искусстве, в выполнении плана и в козлодрании, они срывались в пропасть на горных дорогах, осваивали новую технику и в итоге совершали трудовые и общественно полезные подвиги, давая отпор хулиганам в рамках дружин охраны порядка. Из поэмы в сценарий перешли лирические отступления, жалобы поэта на безлюбовное существование, обращения к силам родной природы и финальный монолог строителя нового общества. Любитель пейзажей и символов (чего еще желать режиссеру?) мог здесь найти и белую пену, и круговороты звезд, и черные деревья, живописно проступающие на белом фоне.

Художественный совет студии, почти все члены которого были близкие друзья и сослуживцы поэта и уж все поголовно знали о нежной дружбе поэта с директором, отметили богатейший материал, содержащийся в сценарии, а также огромные художественные возможности, которые вся эта история таит для любого стоящего режиссера. А режиссеры (они тоже непременно входят в художественный совет) наперебой говорили о том, как они «видят эту вещь» и как они бы ее «решили», если бы им выпало счастье… В общем, все прошло блестяще, первый вариант был принят, поэт получил еще десять процентов гонорара. Надо было теперь сде-

лать кое-какие поправки, прояснить сюжет, более выпукло наметить образцы, укрепить канву, сократить диалог и вообще довести сценарий до мало-мальски приемлемого (желательно даже договорного) объема.

Между тем поэту, дважды перечитавшему свое любимое (и заслужившее столько похвал!) детище, сценарий нравился все больше, и было совершенно непонятно, что же делать с ним дальше. Прочитав сценарий в третий раз, Муртаз вставил в него образ старика басмача, дожившего до наших дней среди опасных трудов вредительства, а также стихи из своего последнего сборника. Новое обсуждение еще раз подчеркнуло выдающиеся достоинства сценария и постановило выдать поэту недостающие до половины суммы пятнадцать процентов. В то же время было сказано, что сценарий все же нуждается во всех упомянутых выше доделках – в прояснении сюжета, укреплении канвы и так далее. Прошел год, пора уже было переводить сценарий в план постановки, и поэту, его редакторам и даже директору студии, уже отчасти введенному к тому времени в курс дела, становилось ясно, что автор больше ничего не сможет сделать со своим прекрасным, но непригодным к постановке детищем. Положение создавалось трудное. Студией уже была выплачена за сценарий довольно большая сумма. Бухгалтер, приглашенный директором для консультации, смутно намекнул, что вследствие благосклонности директора к товарищу зрелых игр сумма эта даже превысила ту, что обычно выдают автору за два варианта сценария. Если же учесть, что оба эти варианта никуда не годились, то, значит, и превышенная сумма была выплачена зазря, так что ее предстояло как-нибудь списывать. При расторжении договора могли возникнуть всякие неприятные для автора (в плане моральном и материальном) осложнения. Да и сам факт, что студии приходится губить так всем поначалу понравившуюся художественную идею и расставаться с любезным ей автором, был достаточно неприятным. Ведь речь шла не о какой-нибудь там безликой кинопленке, не о пиломатериалах или старых костюмах. Речь шла о живом человеке, о поэте, существе талантливом, трепетном и многодетном. К тому же о товарище игр… И товарищ он был не занудному старику бухгалтеру, а молодому и любимому всеми директору. В общем, положение создавалось сложное, и директор уже несколько раз повторил: «Думайте, товарищи, думайте!», а участники узкого совещания все еще не подавали голоса. Потом старый бухгалтер сказал, что, собственно говоря, прецеденты были и что подобные случаи случались сплошь и рядом при всех директорах (он их пережил уже шесть). Выход есть. Конечно, не такой уж замечательный, но к которому уже прибегали, а именно: можно за оставшуюся сумму пригласить из Москвы какого-нибудь сценариста-драматурга (только не поэта), которой доработает сценарий на правах соавторства или даже еще более птичьих.

Выход, что и говорить, был не такой уж замечательный. Менее всего замечательным он был для поэта, для Мураза Муртаза, который при осуществлении этого плана мало того что лишался остававшейся до ста процентов половины гонорара, но и лишался еще половины своего авторского, отцовского права на прелестную девушку из чайханы, не говоря уже о том, что впоследствии, по выходе фильма, должен был лишиться и половины потиражных денег. С другой стороны, в настоящем виде сценарий Муртаза и вовсе не имел перспектив на будущее, на какую бы то ни было известность, на какие бы то ни было потиражные, что было уж и вовсе обидно, тем более что такое увенчание его усилий никак не могло помочь поэту растить свое огромное семейство, а также вести образ жизни, способствующий вдохновению. Поэтому не вполне замечательный выход, предложенный бухгалтером, был принят как единственно реальный. Теперь оставалось еще найти специалиста-соавтора, который не только смог, но и согласился бы завершить начатую поэтом работу. На поиски такого специалиста был отправлен в Москву молодой редактор-профессионал, недавно окончивший московский институт. После теплых встреч с бывшими однокашниками этот редактор, стесненный бюджетом времени, энергично обзвонил всех видных и маститых мастеров кинодраматургического дела, фамилии которых он выяснил в соответствующей инстанции. Некоторые из них отсутствовали,

другие болели, третьи чинили машину, четвертые были заняты, пятых, кажется, не вдохновила идея сотрудничества на птичьих правах с каким-то Муразом Муртазом и с его опозоренной девушкой из чайханы. Продлив командировку на два дня, редактор достал дополнительный список, в который какими-то судьбами попал и Зенкович, Семен Давыдович, 141 № 94-18. Куратор из главка сказал, что это уже довольно известный молодой драматург и что о нем писали недавно в газетах. Кажется, в положительном смысле, хорошо писали. Редактор припомнил, что и правда писали – то ли хорошо, то ли плохо. На самом деле и действительно трудно было сказать, хорошо или плохо писала про первую пьесу С. Зенковича центральная газета. Там было сказано, что он талантливый молодой драматург и жаль только, что он пишет так плохо…

В общем, бахорский редактор обзвонил авторов из дополнительного списка, никого не застал на месте, но чудом застал Зенковича, который, кажется, совсем не заинтересовался ни девушкой из чайханы, ни творчеством Мураза Муртаза, не спросил даже, сколько это – пятьдесят процентов гонорара, но зато долго и дотошно выспрашивал, тепло ли сейчас в Бахористане, большие ли там горы и сильна ли мусульманская религия в этих горах. Как будто он хотел принять мусульманство или поехать на экскурсию в горы. Последнее предположение, впрочем, в значительной степени уточняет образ жизни моего друга С.Зенковича, который жил так, словно он ненадолго (да и то в порядке исключения, с трудом выбив себе путевку) попал экскурсантом на эту любопытнейшую планету и теперь вот ловит на ней свой туристский кайф. Редактор обрадовался, не услышав никаких серьезных медицинских, творческих или автомобильных возражений, и сказал, что у них в Бахористане еще очень тепло, а местами даже жарко, что горы там огромные, а мусульманская религия существует в качестве пережитка, который умирает очень стремительно и потому еще жив кое-где повсеместно, и что вообще товарищ Зенкович будет немедленно вызван в столицу Бахорской республики Орджоникирв для ознакомления с самим Муртазом и его произведением, а также для заключения с ним договора на киносценарий.

Вот так все началось.

И надо признать, все началось прекрасно. Мой друг С. Зенкович, совершив за счет киностудии четырехчасовой перелет, попал в поистине райский уголок земли, в атмосферу братской любви и нежного понимания всех его творческих и просто человеческих нужд. Начать с того, что ночью его встречал в аэропорту редактор с машиной, что его поместили в гостиницу, устланную толстыми китайскими коврами, что сосед по коридору тотчас же, среди ночи, угостил его дыней, а другой сосед напоил зеленым чаем, что утром за ним пришел поэт Мураз Муртаз и повел домой, где накормил пловом и еще какими-то очень вкусными кушаньями, названия которых мой друг, к сожалению, не смог запомнить сразу, а также познакомил со своими десятью сыновьями и двумя дочками. Поэт был очень маленький, очень лысый и очень подвижный. По-русски он говорил быстро, нечленораздельно и был сексуально озабочен. Редактор же был молодой, красивый, он встретил Зенковича, крепко и честно пожал ему руку и стал его другом навек.

Гостиница, в которой поместили Зенковича, была расположена рядом с базаром. Это было почти забытое в России чудо – базар. Здесь грудами лежали ярко-красные и нежно-желтые помидоры, виноград, большая сладкая редька, красный перец, яблоки, груши, огурцы, капуста, айва, ароматные травы и еще Бог знает что. Здесь продавали также какие-то загадочные предметы мусульманского обихода: деревянную курительную трубку, которую вовсе даже не берут в рот, а, напротив, надевают на пипиську младенцу, чтобы моча стекала в специальный горшочек, оставляя подстилку сухой; безобидный табачный наркотик, который кладут под язык, и, что еще более важно, узорчатые тыквочки-табакерки для этого наркотика; куски какой-то прозрачной гадости, которая служит здесь жвачкой и заменяет дорогостоящую заграничную; странную железную щетку, которой дырявят лепешку, прежде чем прилепить ее к

стенке очага… А главное – здесь нельзя было остаться голодным. В одном углу базара дымился шашлык, в другом вкусно пахло пловом. В больших котлах рыба кипела в масле. Женщины продавали горячий горох стаканами. Бахорцы ели большие пельмени-манты, посыпая их красным перцем. Продавец кидал на газету сумбусу, горячие пирожки, похожие на беляши…

Все было вкусное, все подавали сразу, с пылу, с жару, и, присев на стол чайханы среди доброжелательных и красивых людей, Зенкович перепробовал всю эту вкусную еду, запивая ее терпким зеленым чаем. Это был ласковый Восток…

А на студии Зенковичу без сопротивленья выдали аванс. Потом ему вручили папку со сценарием Мураза Муртаза. Поздней его еще угощали в ресторане, на очень высоком уровне, с участием директора и бухгалтера. Участники пира рассказывали ему про здешние горы, которые ему еще предстоит увидеть, а также почему-то про Францию и Грецию, которые он увидеть уже не надеялся. Они просили его как можно скорее завершить работу, приехать снова, приезжать часто, и при этом Зенковичу было очевидно, что эти люди – и молодой директор, земляк Муртаза, и поседевший в боях бухгалтер, и будущий его режиссер Махмуд Кубасов, и нежный друг-редактор – все без исключения рады ему, рады их новому знакомству и хотят, чтобы дружба эта продолжалась вечно.

А потом Зенковича всей компанией так же ласково проводили в аэропорт. Он полетел домой придавать творению Мураза Муртаза литературную и даже, по возможности, кинематографическую форму.

* * *

Первое знакомство со сценарием «Девушка из чайханы» привело Зенковича в шоковое состояние. Он позвонил мне как-то поздним вечером, почти ночью, зачитывал по телефону перлы абсурдизма и слабоумия, усугубленного подстрочником, негодовал, смеялся, клялся отказаться от этой работы и начать честную жизнь. Даже вернуть аванс, если на то пошло. Потом он успокоился и решил, что не стоит нервничать: раз сценарий Муртаза признан неудачным даже на студии, надо его по возможности забыть. Зенкович прочел одноименную поэму и решил, что позаимствует оттуда два факта: тот, что у дороги стоит чайхана, и тот, что в чайхане работает девушка. Еще он решил оставить неизменным название фильма.

Зенкович придумал свой собственный, совсем новый сценарий – грустную и нежную историю про молодую женщину с ребенком, которая любит женатого шофера, а потом влюбляется в юношу и, запутавшись в своих любовных делах, погибает. Там, конечно, были и чайхана при дороге, и суровые работяги-шоферы, и Восток, который Зенкович уже успел полюбить. Среди героев выделялся один джек-лондонский шофер-бродяга; был там также розоватый, донкихотствующий мальчик и еще было суровое мужское братство; были трагические приключения в дороге, элемент детектива и элемент мелодрамы. Зенкович сам не ожидал, что все так ловко сладится у него в конце концов.

Когда он зачитывал мне этот свой первый вариант сценария, голос его звенел от волнения. Кончив, Зенкович напился воды, попытался улыбнуться небрежно и сказал:

– Надеюсь, это как раз то дерьмо, которое им нужно.

Однако я видел, что он так не думает и что он надеется, что это все-таки не совсем дерьмо. Мне, как человеку, не связанному с кинематографом, трудно было сказать по этому поводу что-либо определенное. Мне ясно было, с одной стороны, что написано все с чувством и вполне профессионально и отличается от опытов М. Муртаза, как Фолкнер отличается от Кожевникова; однако ощутимо было и то, что это все-таки какой-то особый, несколько облегченный вид прозы, некий субпродукт, приспособленный к идейным и производственным требованиям текущей (то есть прошлой) пятилетки (нынешняя пятилетка качества была объявлена позже).

Еще неделю Зенкович работал над стилем и диалогом, а потом отправил свое детище по почте и стал с нетерпением ждать ответа. Примерно через месяц он был телеграммой вызван в Орджоникирв для обсуждения его варианта сценария. Доброжелательный редактор позвонил Зенковичу и, успокоив его, сказал, что впечатление от его работы на студии в общем вполне положительное.

Я провожал моего друга в аэропорту. Он был чем-то встревожен. Казалось, он ожидал более восторженной, более праздничной телеграммы. Он сказал мне, что, по всей вероятности, задержится в Бахористане, там сейчас тепло и прекрасно, а в Москве – как всегда. Что хорошего может быть в Москве, да еще поздней осенью?

Итак, Зенкович вторично прибыл в Бахористан, на сей раз для обсуждения плодов своих усилий над злополучным творением Муртаза; точнее сказать, сценария, сочиненного им по поводу, или по мотивам, творения Муртаза.

Орджоникирв был, как и в первый раз, ласковым, теплым, изобильным. В гостиничном буфете все казалось ему вкусным, а на базаре – просто сладостным. На улицах стоял тот особый запах тепла и уходящего лета, который обычен для этого благословенного края в ту пору, когда во всех прочих местах уже льют холодные дожди или даже падает снег.

Редактор был с ним дружественно-нежен, сказал, что все о'кей и что сценарий прямым путем идет к цели, то есть к производству. Даже есть режиссер, один из самых талантливых режиссеров на студии, – душа, рубаха-парень, весельчак Махмуд Кубасов. Конечно, сейчас будет худсовет, дадут кое-какие поправки, но…

И началось обсуждение. Все выступающие отметили, что сценарий изменился к лучшему, стал несколько более стройным и профессиональным, что выдающиеся художественные идеи М. Муртаза обрели теперь литературный и кинематографический эквивалент, однако…

Зенкович оторопел. Они всучили ему бесформенную кучу дерьма, он им написал вещь – с литературой, драматургией, да они ведь, кажется, довольны, так о чем в конце-то концов речь?..

Однако речей было много. Ораторы говорили, что сценарий все же отчасти утратил национальную самобытность, которой и вообще и в частности отмечено творчество М. Муртаза. (Боже, да что там у него за творчество?) И вот теперь нужно будет эту самобытность малопомалу восстановить.

Всем членам худсовета понравился розовый шофер. Он был в розовых традициях Розова, и это было очень хорошо. Что же касается джек-лондоновского бродяги, то Зенковичу напомнили, что шоферы – это все-таки передовой отряд рабочего класса, и это нужно подчеркнуть в первую очередь. Исчез, оказывается, гул большой стройки, который был слышен у Муртаза. Его тоже надо восстановить.

Но главное – сама девушка из чайханы. О ней говорили много и заинтересованно. В поэме это, оказывается, был очень чистый и светлый образ. Вообще, бахорский народ любит только чистые и светлые женские образы. А в сценарии у девушки ребенок. Как тут быть?

Один из членов худсовета предложил сделать девушку татаркой. Татарке можно многое, почти все. Изумленный Зенкович крикнул, что эту операцию он произведет в два счета. Большинство членов худсовета сказало, что все-таки не нужно (хотя бы она и была татарка), чтобы она любила женатого шофера. Пусть она любит только молодого, розового, тогда это будет по-нашему, по-бахорски, и по-нашему, по-татарски. Зенкович вякнул, что тогда не будет драмы, но тут выступил самый главный редактор. Он сказал, что драме и не должно быть места на большой дороге, которая ведет ко всесоюзной стройке. Там должно быть место для пролетарского интернационализма…

Теперь говорили все. Говорили об отце бедной девушки из чайханы. Очень плохо, что у нее нет отца. У всех бахорских (и даже татарских) девушек есть отцы. Это очень важно для девушек. Это помогает им жить. Или пускай этот отец был раньше, но погиб на войне.

Пусть он погибнет, освобождая белорусский народ, тогда тема пролетарского интернационализма обретет конкретное звучание. Режиссер Кубасов просил авторов написать эпизод героической схватки, в которой погибает отец девушки, унося за собой в могилу десятки черных фашистских жизней.

Зенкович сказал, что подумает.

Всем понравился в сценарии элемент мелодрамы, а также суровой мужской дружбы. Нужно только сделать, чтобы это была производственная дружба, чтоб она помогала этим шоферам выполнять свои обязательства, иначе совершенно исчезнут приметы нашего времени. Что касается детектива, то он может остаться как любимый народом жанр. Зенкович буркнул, что, поскольку из двух мужчин остается один, детектив ему не понадобится. Девушка, впрочем, тоже.

Его просили все же оставить девушку, ссылаясь на специфику жанра, на название поэмы, любимой народом, и на производственные планы студии. Упомянули почему-то даже уборку хлопка в республике и борьбу с хулиганством.

Пожилой режиссер, стосковавшийся по публичным выступлениям, говорил целых полчаса.

– Этот девушка, – воскликнул он с болью, – он же советский человек. Я вспоминаю тяжелый время Гражданский война, когда был голод. Вспоминаю время Отечественный война, когда во всем был недостаток. Я вспоминаю время реконструкций…

Покончив с воспоминаниями, режиссер перешел к художественной теории:

– Я вспоминаю великий бахорский режиссер Рахметов, который сказал, что кино должен быть интересный.

– Что снял этот Рахметов? – шепнул скучающий Зенкович своему черноусому соседу-оператору.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.